



## А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ

### Корбаччо

#### I

Равновесие любви и долга в повестях Декамерона не говорит за внутреннюю уравновешенность его автора. В последнем дне нет прежнего смеха, настроение серьезно-великодушно: уже зарождаются, быть может, в душе Боккаччо те сомнения, которые позже заставят его отречься от своих новелл; сомнения, навеянные не критиками-ригористами, а опытом жизни. Декамерон кончен в 1353–4 годах, Боккаччо было лет сорок, и как у людей, страстно поживших, у него явилось раннее сознание старости, обострившееся до отчаяния, что жизнь прошла бесцельно, даром, в плотских утехах в вожделениях, от которых не спасла его и та, которая впервые их возбудила, Фьямметта. Надо опомниться, подумать о тихой гавани спасения. К какому времени относятся сонеты Боккаччо на эту тему — решить трудно, но один из них написан в 1348 году, когда начат был Декамерон, или вскоре после того: Боккаччо говорит, что перешел за половину отмеренного человеку возраста, ему было, стало быть, 35 лет, согласно с его толкованием известного дантовского стиха: *Nel mezzo del cammin di nostra vita*<sup>1</sup>. «Когда я оглядываюсь назад и вижу, что я миновал, что, может быть, утратил, чем злоупотребил, потворствуя какому-нибудь влечению — я печалюсь и гневаюсь на себя, понимая, что то, что дается нам однажды, умчалось, я сам отогнал его от себя, а теперь сетую напрасно — ибо мне не суждено восстановить новым счастьем мои утраты в этой бременной, жалкой жизни: дуга моих лет уже перекинулась на другую сторону, мне не вернуться к первому дню, и я вижу, близится и последний».

Фьямметта воспитала его любовь, годы разлуки и самонаблюдения над неулегшимся еще чувством очистили его, дантовские влия-

ния раскрыли ему перспективы идеализма, в которые он вжился воображением, которые почувствовал художнически. В цикле сонетов на смерть Фьямметты ее апотеоз укладывается в формы, навеянные Данте в Чино из Пистойи, как у Петрарки и Франческо да Барберино, но в них есть искренние, сердечные ноты: благодарность, доносящаяся с земли. Сонет LXVII повторяет мотив одного поэтического видения в садах Филоколо, только там это дух любви, здесь ангел, предвестник смерти: огонек спустился на золотистые волосы Фьямметты, увенчанные алыми цветами, огонек становится светлым облачком, в нем ангел, окутанный в золото и восточный сапфир, точно жемчужина в оправе золотого перстня; ангел уносится в небо один, в сиянии. Я тогда возрадовался, чая великое, говорит поэт, а мне надо было бы знать, что то Господь зовет к себе мадонну. — И она умерла: ночью по звездному небу поднимается огонек, чтобы занять свое место в числе звезд, и слышится голос: кто хочет быть со мною, тому надлежит быть благим и смиренным. Это Фьямметта: с собой она унесла его сердце; ее бесподобной красоты не описать, кто хочет увидеть ее, пусть вознесется на крыльях добродетели к высотам, где она пребывает, откуда она спускается к поэту: Чего ищешь ты, неразумный, чего смотришь кругом? В прах обратилось то тело, которое было когда-то предметом твоей страсти; почему не возведешь ты свои очи к небу, где мое чело сияет краше прежнего, полное желаний? — И поэт стремится к ней, ему опостылела печальная юдоль жизни; он не будет петь про свое горе, чтобы не порадовать тех, которых печалило его счастье. Он хочет умереть; Данте, поет он, если ты пребываешь в сфере Любви, созерцая Беатриче, увлекшую тебя за собою, и если любовь не забывается и там, исполни мою просьбу: я знаю, что Фьямметта среди блаженных душ третьего неба, она видит, как я тоскую, пусть смилуется надо мною и вымолит для меня скорое соединение с нею. — Много лет спустя в сонете на смерть Петрарки те же образы и те же мысли посетили его еще раз. Часто ему кажется, что он уже совлек с себя тяжесть плоти и несется птицей к той, которая в этой жизни обуздывала его своей горделивой сдержанностью; если бы огонь (fiamma) очей, ныне блаженных, бывших мне когда-то стрелами и цепями, утишил мои страдания и осушил слезы, я внимал бы теперь ангельскому пению и не заблуждался бы по стезям земных надежд; но она, ныне бессмертная, презирает нашу брэнность и смеется над суетной мыслью, увлекающею меня туда, где она еще более разжигается — и я боюсь, что мои крылья никогда не оперятся и не поднимут меня от суеты света в обитель мира. — Однажды это сбылось в сновидении: он воз-

несся к небу, видит ее радостную, пламенеющую, она протягивает к нему руку; если бы она взяла его тогда, он никогда бы не вернулся на землю.

Если в этих сонетах риторика не прикрасила правды чувства, то в №№ LXXIII, LXXXI и LXXXVII мы находим откровенное признание того, чем была в аффектах Боккаччо Фьямметта. Признание для нас не новое: Фьямметта обуздывала его своею сдержанностью, своей «благородною любовью», но не спасла от «излишней горячности духа, воспитанной неупорядоченным желанием». Он продолжал увлекаться, будучи уже человеком зрелым и степенным, принимая любовное «пламя в свою матерую грудь», как маэстро Альберто, как Гвидо Кавальканти, Данте и Чино, но одна чувственность уже не поднимала его на высоту, на которой она прежде одухотворялись силами платонического Амура. Вместе с Фьямметтой поблекли и лучи идеала, когда-то просветлявшие житейскую грязь: Боккаччо ощутил себя прежним Дионео, и эта мысль гнетет его своею неизбежностью; он ухаживает по мелочам и не находит в этой любви того удовлетворения, которое доставляло ему когда-то сознание ее присущей ей самой законности.

К этому времени следует отнести его связь с безыменной матерью его рано умерших детей, его малолетней дочери Виоланты, которую он так любовно вспоминает в письме к Петрарке от 1367 года и в XIV эклоге, где она прилетает к нему из райских селений в просветленном образе Олимпии. Ей было пять с половиною лет, когда он видел ее в последний раз перед поездкою в Неаполь, очевидно в ноябре 1361 года; она родилась, стало быть, в мае 1355 года.

Овидий не помогает; Боккаччо приучается смотреть на него как на *doctor adulterii*<sup>2</sup> — такова точка зрения Генеалогий богов и толкований к Божественной Комедии; видит в любви лишь физиологический акт, неразумное вожделение, вредное и беспорядочное, которого должны остерегаться все, дорожащие своим достоинством. Когда Фьямметта проводила этот взгляд в беседах Филоколо, Боккаччо протестовал, теперь он сам склоняется к щепетильной нравственности, к оберегу семейного начала. Ему было 54 года, когда приехав в 1367 году в Венецию и не застав там Петрарки, он не решился остановиться у его дочери, мужа которой не было в то время дома, ибо, пишет он другу, «в этом, как и во многом другом, ты знаешь чистоту моих отношений ко всему, что тебя касается, но другие того не знают, и хотя моя седая голова и возраст и тело, беспомощное от излишней тучности, должны были бы удалить всякие подозрения», тем не менее могли бы найтись люди, которые

стали бы искать следов там, где моей ноги никогда и не было. — Мы далеки не только от Овидия, но и от понятия одухотворяющей любви; слышатся другие речи:

Der Teufel, den man Venus nennt,  
Er ist der schlimmste von Allen  
(Heine, die Götter im Exil); <sup>3</sup>

ригоризм, обращенный на самого себя, к воспоминаниям, кончится сокрушением, страхом за принесенный вред — и известным отрицанием Декамерона в письме к Магинарду деи Кавальканти. Торжествовал старый нравственный критерий, к которому так беззаботно относились многие рассказы Декамерона, и Боккаччо также страстно и нервно отдавался сознанию своей греховности, как прежде верил в решающую силу чувства. Тогда его нормировала Фьямметта, теперь он искал успокоения в руководстве Петрарки.

Все это обошлось не без борьбы, признаки которой можно уследить во второй части Декамерона. Прежде сознания греховности явились уколы самолюбия: пора оставить любовь, ты начинаешь сидеть, пожалей себя, говорит себе Боккаччо; он увлекался и бывал обманут; серьезные люди говорили ему, что ему место на Парнассе и любовь не по возрасту; он забывал одно и помнил другое: он человек ученый, школяр — и над ним-то наглумились! В 7-й новелле VIII-го дня школяр завлек на башню проводшую его вдову и, заставляя ее печься на солнце, тешится вслух своей мезтью над «дрянной и преступной» бабой, из-за которой едва не умер «порядочный человек», чья жизнь может в один день принести свету более пользы, чем жизнь ста тысяч ей подобны. Теперь он научит ее, «что значит издеваться над людьми, у которых есть какое-либо понимание, что значит издеваться над учеными». Если способ мести подвернулся ему случайный, то из этого не выходит, чтоб он не располагал другими: «если б у меня не было ни одного пути, у меня все-таки оставалось бы перо, которым я написал бы о тебе такое и так, что если б ты узнала о том, — а ты узнала бы наверное — тысячу раз пожелала бы не родиться на свет. Могущество пера гораздо больше, чем полагают те, которые не познали его на опыте. Клянусь Богом..., я написал бы о тебе такое, что, устыдившись не только других, но и самой себя, ты, лишь бы не видеть себя, вырвала бы себе глаза; потому не упрекай море, что небольшой ручеек умножил его воды».

Угрозы школяра привел в исполнение автор Корбаччо; краски Декамерона, сатирические выходки Гвидо Кавальканти (Guata, Manetto, quella scrignatuzza<sup>4</sup>) и Чекко Анджольери (Deh! guata,

Ciampol, ben questa vecchiuzza<sup>5</sup>) бледнеют перед завзятым реализмом, полным шаржа и гнева и ювеналовских мотивов; до такой яркости сатиры, личной и вместе житейской, Боккаччо поднялся разве еще раз в письме к Нелли, но уже в одном из его юношеских посланий к какому-то анониму встречаются те же приливы страстного негодования и угроз: он сошелся с каким-то молодым человеком, который обманул его дружбу, выдав кому то доверенную ему тайну, окружив себя обществом, которое запятнало имя Боккаччо — и он величает его Дионеем, Эбионом, Кассилидом, громит в письме, накапливая все ужасы реторики, и заставит испытать еще большую кару, о которой тому и не снилось.

Corbaccio — ворон, грающий недоброе: это сторона сатиры; второе заглавие подсказывает мораль: *Labirinto d'amore*<sup>6</sup>.

Hunc mundum typice labyrinthus denotat iste  
Intranti largus, redeunti sed nimis artus<sup>7</sup>

гласит подпись под мозаичным изображением лабиринта, X-го века, на полу церкви S. Savino в Пьяченце. Лабиринт — это жизнь, погрязшая в грехах любви, откуда трудно выбраться без Virgilius, говорит Боккаччо; кто вступит в этот губительный лабиринт, толкует он в *De Casibus*, либо бывает извержен из него после долгих обманчивых блужданий, либо погибает от усилий и расставленных ков. Божественная Комедия подсказала в Корбаччо образы для страстной инвективы против Амура, как определила аллегорический стиль Любовного Видения. Корбаччо его прямое отрицание: круг развития завершился.

Страстность Корбаччо несомненно отражает личный факт: Боккаччо увлекся какой-то вдовой и нашел соперника. Сохранился его игривый сонет к Антонио Пуччи: ему нравятся вдова и девушка, равные по красам и добродетелям; обеих любить невозможно; какую предпочесть? Пуччи отвечает, раскланиваясь: твои нежные, идущие от сердца стихи так запали мне в сердце, что я весь к твоим услугам, и хотя сознаю себя во всех отношениях недостойнее тебя, отвечу, как сумею: кто влюбился в девушку, никогда не уверен в том, что получит; потому говорю тебе, как отец сыну: ради вдовушки оставь лилию,

Che per la viduetta lasci il giglio.

Относится-ли это поэтическое прение к факту Корбаччо — мы не знаем; ясной кажется связь последнего с новеллой о школяре: там и здесь положение тоже, месть «пером», которую сулит новел-



ла, исполнена в сатире; таковы могли быть и их хронологические отношения. Рассказ о школяре является в 8-м дне Декамерона, оконченного, как думают (без точных, впрочем, оснований), около 1353 года; в Корбаччо говорится об авторе, что он уже сорок лет, как вышел из пеленок, и лет двадцать пять, как познал обычаи света. На пеленки полагают два года, что дает с сорока годами — сорок два; это отнесло бы нас к 1355 году. Мне кажется, что вопрос о пеленках здесь лишний и что из общего места нельзя извлечь хронологии: Боккаччо было лет сорок — вот все, что можно добыть из указаний сатиры; это было в 1353 году, и именно в конце года или начале 1354, по флорентинскому летосчислению, начинавшемуся с 25 марта. Легко представить себе, что один и тот же пережитый поэтом урок отложился у него в новеллу, кстати, пристроившуюся к схеме захожей повести, и в обличие Корбаччо; их мизогиническое настроение одно и то же.

## II

Новеллы Декамерона написаны в «благодарность» людям, которые когда-то соболезновали автору в его любовных невзгодах; Корбаччо также написан в порыве признательности за милость, ниспосланную не по заслугам, а по благодати Той, которые вымолила ее у пожелавшего того же, что и Она, то есть спасения заблудшего. Корбаччо — дань благодарности, отчего автор призывает помощь Господа, дабы его писание было во славу и похвалу его святейшего имени и на пользу и утешение читающим.

Недавно сидел я одиноко в своей комнате, погруженный в раздумье о неудачах моей плотской любви, так начинает свой рассказ Боккаччо; мысль о том, что женщина, которую я неразумно избрал своей дамой, обращается со мною жестоко без вины с моей стороны, заставила меня сетовать и вздыхать и проливать слезы негодования и желать смерти, как выхода. Я уже решился на то, когда меня объяли страх худшей участи и сострадание к самому себе. Еще раз вернулись слезы и новое желание смерти, а затем и размышление, посланное, думается мне, свыше: **Неразумный!** Неужели ты не видишь, что ты сам ожесточился на себя, не кто другой? Разве она принуждала тебя любить себя? Ты скажешь: она знает, что я ее люблю, и потому должна бы полюбить меня. Но, может быть, ты ее не нравишься; вини себя, что твой выбор был плох. Но посмотрим, что выйдет, если ты ожесточишься против себя, продолжает испытующая мысль: все, что делает человек, совершает

либо в удовольствие себе, либо в угоду другому, либо себе и другим, или наоборот. — По этим рубрикам разбирается положение поэта; заключение одно: надо отогнать от себя вожделение смерти, не лишать себя того, чего не приобрел; не радуй своей смертью тех, кто тебя не любит, полюби жизнь и постарайся продлить ее. Кто знает: может быть, ты еще порадуешься участи той, которая, по твоему мнению, так обижает тебя; не поживешь, не увидишь и мести. И так: живи и своей жизнью досади ей.

Чудно действует божественное утешение на человеческие умы! говорит Боккаччо; мои глаза точно прозрели, я понял свое заблуждение и плакал от стыда, порицая себя и придя к сознанию, что я далеко хуже того, чем себя считал. Осушив слезы, я решился оставить уединение, вредное для всякого, болеющего духом, и вышел с лицом спокойным, на сколько позволило испытанное мною волнение духа. Я искал общества и нашел таковое, полезное в моем настроении. Оно собралось в уютном месте, и мы, по старому обычаю, принялись беседовать о капризной изменчивости судьбы, о неразумии полагающихся на нее. Затем перешли к вопросу о неизменчивости природы, о чудесном и достойном хвалы порядке ее явлений, не возбуждающем нашего удивления потому только, что мы к нему присмотрелись, как к чему-то обычному; а далее зашла речь о предметах божественных, которые лишь крайними частицами доступны самым выпренним умам, так они превышают понимание смертных. Беседы кончились с наступлением ночи, и я вернулся в свою комнату, ободренный; поев умеренно, я долгое время с наслаждением передумывал содержание бывших между нами речей, пока не обуял меня крепкий сон. Но враждебная мне судьба умудрилась досадить мне и во сне, вызвав перед недремлющей фантазией различные образы.

Мне казалось, что я иду по прекрасной тропе; место было мне незнакомое, но я как-будто и не желал узнать, где оно; мне было приятно, и чем далее, тем приятнее, точно в конце пути меня ждала неизреченная радость. Так страстно было желание добраться до цели, что я бежал, казалось, у меня отросли крылья, и я летел. А между тем виды по пути стали другие: вместо зеленой травы и цветов появились камни, крапива, волчец и репейник; темная мгла тумана гналась за мной, и обступив внезапно, остановила мой полет. Я не знал, где я, надежды пали; когда туман поредел, я увидал, в наступившем уже мраке ночи, что я в пустынном месте, полном колючих растений и пней, без тропы и дорог, кругом суровые горы, достигавшие, казалось, неба. Как я забрался сюда

и как отсюда выйду — этого я не ведал; до меня доносились рев и мычанье диких зверей. Печаль и страх обуяли меня, я чаял себе смерти и тихо сетовал, призывая Божью помощь, когда увидел мужа, медленно приближавшегося ко мне с восточной стороны. Он был высокого роста, смуглый, волосы черные с проседью, лет шестидесяти или более, сухой и жилистый, не особенно красивый; на нем была длинная, широкая одежда красного цвета, более яркого, чем в какой красят ткани наши мастера. Его вид нагнал на меня и страх и надежду: быть может, он хозяин в этой местности и накажет меня за мое вторжение, напустив на меня диких зверей; с другой стороны он показался мне полным благодати; я как-будто видел его, только не здесь; если в нем есть искра сострадания, он покажет мне, как отсюда выбраться. Когда он подошел ближе, я припомнил, где его видел, искал лишь в памяти, как его звать, когда, окликнув меня моим именем, он спросил ласково: Какая злая судьба, какая лихая доля завела тебя в эту пустыню? Куда делось твое благоразумие? Если ты так же рассудителен, каким бывал, ты должен был бы знать, что это — юдоль телесной смерти, хуже того — гибель души. — Услышав эти слова, отзывавшиеся состраданием ко мне, я заплакал, а затем, собравшись с духом, отвечал, не без стыда, прерывающимся голосом: Ложное увлечение брэнностью привело меня сюда, как я полагаю; многих, более мудрых, чем я, оно доводило до не меньшей гибели; но если ты явился сюда по божественному милосердию, не по моим заслугам, молю тебя во имя общей родины, именем Бога, сжался надо мною и скажи, как мне выйти из этого места, полного такого трепета. — Казалось, он улыбнулся на мои речи и отвечал: Твое присутствие здесь, твои слова показывают ясно (если б я не знал того иным путем), что ты в самом деле лишился ума, и еще находишься в живых. Если бы ты ведал, чьи очи навели тебя на этот путь, не осмелился бы просить меня о своем спасении, ибо будь я еще тем, чем был, я не подал бы тебе помощи, а нанес бы позор и ущерб. Но с тех пор, как я расстался с той жизнью, мой гнев сменился на милость. — При этих словах холод пробежал по моим членам, волосы стали дыбом и отнялся голос; так часто бывает во сне, что хочется бежать от опасности, и не можешь, точно оцепенели ноги; как я тогда не проснулся, не знаю. А призрак сказал мне, смеясь: Не бойся, я явился сюда не затем, чтоб учинить тебе зло, а чтобы извлечь тебя отсюда. — Я стал молить его сделать это поскорее. — На это нужно время, отвечал он, ибо если доступ сюда свободен всякому, руководимому любострастием и неразумием, выйти отсюда не так-то легко, на это надо рассудительность и твердость и помощь



Того, по чьей воле ты вступил сюда. — Так как у нас есть время для беседы, я хотел бы предложить тебе два вопроса, одинаково запрашивающихся на первую очередь: что это за место, дано ли оно тебе в обитель и может ли всякий сюда вошедший, выйти отсюда сам собою? Кто послал тебя мне на помощь? — Место это зовут разное, но одинаково удачно, отвечал призрак: одни Лабиринтом Любви, другие Очарованной долиной, Хлебом Венеры, Юдолью вздохов и печали. Оно не дано мне в обитель, смерть лишила меня возможности вступить в нее; моя обитель не менее сурова, но в ней менее опасности, а кто по своему неразумию забредет в эту, не выйдет из нее без божественного просвещения. — Да поможет тебе Тот, кто все может; но объясни мне, где ты обретаешься? — Я нахожусь в области, где чаю себе несомненного спасения, продолжал он в ответ на мой вопрос: в ней опасности меньше, ибо нет возможности грешить, но страдания на столько больше, что нас поддерживает лишь надежда на лучшую жизнь, иначе, кажется, бессмертные души умерли бы. А чтобы дать тебе понять это отчасти, знай, что моя одежда, цвет которой, по вашему мнению, пристал лишь лицам, отличенным особым почетом, не из рукотворной ткани, а сделана божественным искусством из огня, столь палящего, что, в сравнении с ним, ваш огонь — холодный лед. Он сосет мои соки с такой силой, что все ваши реки не утолили бы моей жажды. Это мне кара за мое ненасытное любостяжание и недостойную терпеливость, с которой я переносил преступные и нечестные нравы той, которую лучше было бы тебе никогда не видеть, как ты сам говоришь. Отвечая на твой второй вопрос, скажу, что явился я по воле и велению бесконечного Бога, Творца всего сущего, которым все живет, который печется о нашем покое и спасении более, чем мы сами.

При этих словах мною овладело глубокое смирение перед величием, всемогуществом и благодатью Господа, и вместе сознание моей низости, брэнности, неблагодарности и великих прегрешений. Так сильно было мое раскаяние, что не только глаза увлажнились слезами, но, казалось, самое сердце таяло, как снег на солнце. Чувствуя свою неспособность воздать благодарность за такие милости, я молчал, и призрак, должно быть, понял, какая тому причина. Знаю я, блаженный дух, начал я по некотором времени, и моя совесть говорит мне, что все сказанное тобой — истина; но я еще меряю божественную благодать земною меркой, и чудно мне, что я так много оскорбил Его, а Он приходит мне на помощь. — Ты говоришь, как человек, не знающий, какова божественная благодать, полагая, что действует она, как действуете вы, не находящие покоя, пока не воздадите

за всякую малейшую обиду. Но, я вижу, тебя посетило раскаяние и ты стал доступнее и послушнее грядущим наставлениям, потому я открою тебе одну из причин, побудивших божественную благодать послать меня тебе на помощь: не человеческий, а ангельский глас поведал мне, что, какова бы впрочем ни была твоя жизнь, ты всегда особо чтил и благоговейно памятовал Ту, которая носила во чреве своем наше Спасение, Живой Источник Милосердия, Матерь благодати и сострадания, и на нее возлагал свою твердую надежду. Увидев тебя заблудшим в этой долине, Она, не ожидая твоей просьбы, умолила Сына своего о твоём спасении — и я явился по Его воле и уйду не ранее, как освободив тебя.

Твои ответы меня удовлетворили, сказал я духу, и хотя возмездие Господа состоит в том, чтобы вновь сделать тебя прекрасным Ему в угоду, я все же сострадаю тебе и желал бы, по возможности, облегчить твою участь. Я рад, что ты не низвергнут в ад, а готовишься, отбыв покаяние, возойти в царство славы. Я знаю, каковы благодать и милость Божии, испытал их во многих опасных случаях, хотя продолжал коснеть в неблагодарности, но я усердно молю Его, могущего соделать все, что пожелает, дабы Он, не раз спасавший меня от вечной смерти, направил и укрепил мои шаги на стезе вечной жизни. Но скажи мне: кто здесь обитает? Не те ли, которых Амур сослал сюда, изгнав из своего двора, или одни звери, рев которых я слышал в течение всей ночи? — Вижу я, что свет истины еще не осенил тебя, и ты еще считаешь высшим блаженством наибольшее бедствие, полагая, что в вашей плотской любви есть нечто благое. Но прислушайся к моим словам:

Эта печальная долина и есть Двор Амура, как ты его называешь, те звери — несчастные, подобно тебе попавшие в его сети; их то голоса, когда они толкуют о любви, и звучат, как рев в ушах разумных людей. Я назвал эту долину Лабиринтом и удивляюсь, почему ты об том спрашиваешь, ибо, сколько мне известно, сам ты бывал здесь не раз, хотя и не в такой тяготе, как теперь. — Я познал, что он говорил правду, и точно каясь в своей вине и придя в сознание, отвечал: Да, я действительно часто бывал здесь, и с большой удачей, как казалось отягченному плотью уму; помню, что выбирался я отсюда разными способами, не столько собственным умом, сколько по милости других, но печаль и страх отбили у меня память, точно я здесь никогда и не бывал. Теперь я понимаю, что делает людей зверями, что означает дикость этой долины и ее названия и отсутствие дорог и тропинок. — Так как твой умственный мрак начинает рассеиваться и удаляется былой страх, я хочу побеседовать с тобою,

стоя, ибо сесть негде, сказал дух. Я знаю, да то доказывают и твои слова и твое пребывание здесь, что ты глубоко завяз в когтях Амура; от меня не скрыто, кто тому причиной: помнишь, что я сказал о той, которую лучше было бы тебе не видеть?. Но поведай мне, как попал ты в ее сети, расскажи, не стыдись, как будто бы я был ей чужим человеком, хотя когда-то она была мне дороже, чем следовало.

Отогнав стыд я отвечал: Твоя просьба побуждает меня поведать тебе то, что я открыл одному лишь верному товарищу, и ей самой в письмах. Да и без твоего ободрения мне нечего было бы стыдиться, а тебе гневаться, потому что по твоей кончине она и по каноническим законам стала не твоей, а свободной. Несколько месяцев тому назад случилось мне, на мое несчастье, беседовать с твоим соседом и родственником, которого нечего называть. Переходя от одного предмета к другому, дошли мы и до вопроса о красивых женщинах, начиная от древних и до современных, из которых пришлось похвалить немногих; тем не менее, перечисляя некоторых из наших горожанок, мой товарищ упомянул и ту, которая когда то была твоей и которую я дотоле не знал, и рассказал о ней чудеса: у нее великодушие и щедрость Александра, природным умом она превосходит всех женщин, красноречива, как любой изысканный, изощрившийся ритор, к тому же прелестна и мила и полна всех качеств, приличествующих благородной даме. — Сознаюсь, что слушая его рассказ, я почитал счастливецом того, кому она достанется в удел и, почти решившись попытать своего счастья, расспросил об ее имени и роде и где она живет — не там, где ты ее оставил. Расставшись с приятелем и не мешкая долго, я отправился в одно место, где мог рассчитывать увидеть ее, и так благоприятствовала мне судьба, милостивая ко мне во всем мне неполезном, что мое желание осуществилось. Удивительное дело: я знал одно, что она одета в черном, но лишь только увидел ее, как догадался, что это она. Так как я всегда был убежден, что открытая любовь либо полна невзгод, либо не доведет до желанной цели, я решился не открываться никому (лишь впоследствии своему другу) и не осмеливался спросить — она ли это. Но и здесь помогла судьба: какая-то дама сзади меня сказала другой: Посмотри-ка, как идут к такой-то белые повязки на черном платье; я услышал и ее имя. Я не солгу, что разглядев ее, я нашел, что рассказанное о ней не только верно, но и ниже действительности, и как огонь, охватив маслянистую поверхность, спускается затем во внутренность предмета, так мое лицо зарделось, а когда прошли внешние знаки смущения, я почувствовал любовное пламя в сердце.

Дух внимал этому рассказу, казалось, не без удовольствия. Ты поведал мне, как ты сам наложил себе цепи на шею, продолжал он; но скажи же мне: открылся ли ты ей в любви, подала-ли она тебе какую-нибудь надежду? — Я решился написать ей: или она склонится к моей любви, думалось мне, и ответит, или она оценит ее, но не склонясь, благоразумно устранит мои надежды. На это письмо я получил записочку, очень неумело написанную, точно в стихах, только одна стопа была длиннее другой. Спрашивали, кто я такой, обнаруживали знакомство с одним философским, хотя и ложным учением, вынесенным, наверно, из проповеди, не из книги и не из школы: будто душа одного человека переходит в другого; говорилось, что ей нравятся мужчины, соединяющие ум с мужеством, услужливость и обходительность с благородством. Из всего этого я понял, что говоривший мне о ней либо сам обманулся на счет ее природного ума, либо меня хотел обмануть. Не смотря на это моя любовь не утолилась, мне показалось даже, что и письмо написано, чтобы ободрить меня к дальнейшим посланиям, обнадежить и поощрить к работе над собой, чтоб ей понравиться. И я решился на это, хотя никаких требуемых качеств за мной не было. Я написал ей еще раз, но никакого ответа не получил. — Что же побудило тебя вчера плакать и желать смерти? спросил меня дух. — Об этом лучше было бы умолчать; во первых, сознание, что я стал неразумным животным и, потратив большую часть жизни на то, чтобы чему-нибудь научиться, в минуту нужды оказался неучем; во вторых ее старание разгласить всюду о моей любви к ней. В первом отношении я не могу себе простить, что так легко доверился рассказням о высоких качествах женщины и неосмотрительно позволил себе угодить в сети любви, поступившись свободой и разумом. Что до второго, то здесь она виновна во многом, ибо влюбившись в некоего господина, которого соседи зовут Авессаломом, чем он себя и считает, не будучи таковым, она, желая привязать его к себе, показала ему мое письмо, и оба глумились надо мной, а он сделал меня посмешищем, рассказывая обо мне, что ему вздумается; он же внушил и ее письмо ко мне. Сам я видел собственными глазами, как она, хихикая, показывала на меня другим, вероятно, приговаривая: Посмотрите-ка, каков дурак? Это мой ухаживатель, как мне не быть счастливой! Так говорила она некоторым женщинам, про честность которых я, да и другие кое-что знаем. Что за непристойное и постыдное дело, что на человека, не скажу благородного, ибо таковым я себя не считаю, но выросшего среди достойных людей, постоянно водившегося с ними, довольно также, если и не в совершенстве, знающего свет —

на этого-то человека женщина указывает взглядом и пальцем, точно на какого-то сумашедшего! Признаюсь, это привело меня в такое негодование, что несколько раз у меня являлась мысль прибегнуть к словам, которые были не к ее чести, но искорка разума, оставшаяся во мне, доказывала, что это было бы бОльшим позором мне, чем ей; я воздержался и пришел в порыве гнева к знакомому тебе неистовому решению.

Выслушав меня, дух что то говорил про себя, как бы размышляя. Хочется мне потолковать с тобою обстоятельнее, начал он снова, на пользу твою и других, во первых о тебе самом, во вторых о ней, а наконец и о причинах, доведших тебя до такого отчаяния. Начну с тебя. Тебя следует попрекнуть за многое, но я коснусь только твоих лет и занятий. Если не обманывают меня твои побелевшие виски и седая борода, ты лет сорок, как вышел из пеленок, и двадцать пять, как познал свет. Если долгий любовный искус юношеских лет не научил тебя, то приближающаяся старость, умеряющая пыл, должна была бы открыть тебе глаза, куда может повергнуть тебя эта неразумная страсть и хватит ли у тебя сил подняться. Ты понял бы, что в делах любви женщины предпочитают молодых людей тем, кто клонится к старости, и что даже юношам не пристало то глупое ухаживание, которое женщинам так нравится. Прилично ли тебе теперь плясать и петь и выходить на турниры?, бегать по ночам, переодеваться и прятаться, когда и где захочет твоя милая, может быть, с той лишь целью, чтобы похвастаться, что она увлекла человека зрелого? Все это тебе не по летам, тебе подобало бы не поддаваться страстям, а подавлять их, наставляя юношей благими делами, которые увеличили бы твою славу. — Но перейду к вопросу о твоих занятиях: сколько мне известно, ты никогда не учился ремеслу, всегда ненавидел торговое дело, и даже хвалился этим, принимая в расчет свои дарования и малую склонность к занятиям, в которых иные старается, юнея умом. С малых лет ты отдался, более, чем желал того отец, священной философии, особенно поэзии, в которой, быть может, ты проявил более страстного желания, чем высоты понимания. Она то и должна была бы научить тебя, что такое любовь и женщины, что такое ты сам и что тебе прилично. Любовь — это страсть, ослепляющая ум, сбивающая дарование (*ingegno*) с пути, ослабляющая память, расточающая достаток, истощающая телесные силы, враг юности и старости, родоначальница пороков, обитающая в пустых сердцах; нечто неразумное, непорядочное и непостоянное, что поражает нездоровые умы и лишает человека свободы. Перебери древние повести и современность,



и ты увидишь, сколько зла произошло от того, кого ты вместе с другими называешь богом, величая его, оскорбляя тем Господа, нанося вред своим занятиям и себе самому. Если бы твоя философия не показывала тебе всего этого, должен был бы показать собственный опыт — и древнее изображение крылатого, обнаженного Амура-стрелка, с повязкою на глазах. Но твои занятия могли научить тебя, кроме того, что такое женщина: женщина — это несовершенное животное, исполненное тысячью отвратительных страстей; если бы мужчины были разумны, они приближались бы к ним не иначе, как к совершению некоторых неизбежных природных отправлений, отбыв которые, человек спешит удалиться; в этом отношении звери разумнее его. Нет животного более грязного; это они сами отлично знают, считая скотом всякого, питающего к ним вожделение. Но говорить об этом подробно не хватило бы года — а мы накануне нового. Полные лукавства, они стараются всеми силами выйти из своего низменного положения и стать нАбольшими, уловляя нашу свободу в сети своей красоты, которую умножают различными способами, притираньями и красками, порой обращая действием серы, искусственных вод и солнечных лучей черные волосы в золотистые, то заплетая их в косу, то распуская по плечам, то собирая на голове, лишь бы к лицу; прельщая то пенъем, то пляскою. Таким-то образом они становятся женами многих и любовницами еще большего числа, и, возмечтав, начинают стремиться к власти, хотя знают, что рождены рабынями. Притворяясь кроткими и ласковыми, они выпрашивают у мужей платья и украшения, и те сами дают им в руки орудие против себя. Став из рабынь подругами, они всеми способами силятся захватить власть, рассчитывая, что если им спустят то, чего не дозволят слугам, они в самом деле — хозяйки. И вот они начинают рядиться; нет той нескромной моды, введенной к нам публичными женщинами, которую бы они не переняли. В доме от них нет житья, как то знают все, то испытывавшие: точно голодные волчицы, зияющие на мужнино добро, они постоянно бранятся с прислугой и родней, будто охраняя то, что в сущности расточают. Ночью те же распри, на супружеском ложе никогда не спится. Вижу я, ты меня не любишь, говорит одна, другая у тебя на сердце; я не слепая, у меня лучшие разведчики, чем ты полагаешь. Бедная я! Сколько времени я с тобой, а не разу еще не слышала, когда ложусь, чтоб ты сказал: Добро пожаловать, моя радость! Но клянусь Богом, я еще устрою тебе то же, что ты строишь мне. Разве я уж так подурнела, не красива, как такая-то? Знаешь-ли что? Кто двоих целует, тому одна наверно опротивела. Пойди прочь, меня ты не кос-

нешься, ступай к той, кому ты ровня, потому что меня ты не достоин. Посмотри-ка, на что ты сам похож! Надо это прикончить. Не из грязи же ты меня поднял; сколько было таких, которые взяли бы меня и без приданого, и я была бы хозяйкой, а тебе я принесла столько-то сот флоринов и стаканом воды не могла располагать без ворчанья твоих братьев и слуг. Пусть отсохнет нога у того, кто связал меня с тобой! — Так мучают они бедняков; кто прогонит из-за них отца или сына, кто отделится от братьев. Добившись своего, они всю заботу обращают на сведен и любовников. Самая целомудренная из них предпочла бы остаться скорее при одном глазе, чем при одном любовнике. Их сладострастие не знает меры и выбора: слуга, крестьянин, мельник или эфиоп — все равно; бывали такие, что возвращались усталые, не удовлетворенные, из публичного дома. Они представляются робкими, боязливыми, когда приходится исполнять благовидные требования мужа, на высоте у них кружится голова, моря они не выносят, ночью боятся привидений; шорох крысы, стук окна, падение камня заставляет их сомлеть; но когда дело идет об их нечестных делах, они храбры духом: пробираются к своим милым по крышам, прячут их в сундуках, принимают на ложе при мужьях, что хуже, забавляются с любовником в присутствии супруга. А сколько бывает выкидышей, покинутых детей, сколько их убивают? — Как все, обыкшие творить злое, ожидают того же и от других, женщины подозрительны, потому они и водятся с звездочетами, некромантами, знахарками и вещуньями, которые кормят их баснями; не удовлетворенные ими, они начинают приставать за разъяснениями к мужьям, но редко им верят и приходят в неописанный гнев. Тигры, львы и змеи человечнее их, нет пощады ни другу, ни брату, ни отцу, ни мужу, и яд и поджог и меч тотчас же идут в ход. Нет бóльшего чуда, как то, что Господь их терпит! — К тому же все это отродье страшно любостяжательно: они обирают мужей, своих собственных детей, которых опекают, любовников, к которым равнодушны, и не задумаются выйти за богатого старика, слюнявого, разбитого, беззубого, в надежде скоро овдоветь. Если годы позволят ему иметь потомство, тем лучше, иначе дети явятся, хотя бы и подставные, чтобы вдове можно было благодетельствовать на счет опекаемого. — Ветрянные и непостоянные во всем, кроме сладострастия, полные самомнения, они упрямы и непокорны. Если богатая женщина невыносима, то нет ничего неприятнее бедной, когда она строптива. Они послушны лишь тогда, когда добиваются нарядов и объятий, во всех других случаях вменяют послушание в знак рабства. —

Болтливы они до надоедливости; бедные ученые претерпевают холод и голод, проводят бессонные ночи и убеждаются после многих лет, что мало чему научились; женщинам стоит простоять в церкви обедню, и они уже знают как вращается твердь, сколько и каких звезд на небе, как происходит гром и молния и град, что делается в Индии или Испании, откуда выходит Нил; с кем спала ее соседка, от кого другая беременна, и сколько той курица несет в год яиц. Одним словом им ведомо все, что когда-либо совершали троянцы, греки и римляне, и, если не найдется других слушателей, они болтают о том с служанкой, булочницей или прачкой. Такую же мудрость преподают они и дочкам: как грабить мужей, получать любовные записочки, притворяться больной; откуда только являются у них слезы, по первому требованию, про то Бог знает! А как покорно они выслушивают замечания на счет какой-либо прорухи, особенно, если кто увидит ее собственными глазами! Это было не так! говорят они тогда, либо: Ты отъявленно лжешь, у тебя в глазах двоится, мозги в починке, пей меньше; в уме ли ты? Ты бредишь на яву! Если они станут утверждать, что видели летающего осла, придется согласиться, чтобы не навлечь на себя смертельной вражды, ибо они надменны, и если кто вздумает принижать их ум, говорят: Разве сивиллы не были мудрыми? Точно каждая из них считает себя одиннадцатой сивиллой. Но вот что дивно, что в течение стольких тысяч лет нашлось всего десять мудрых женщин. Они идут и далее, утверждая, что все хорошее — женского рода: звезды, планеты, музы, добродетели, неблагоприятно отдавая себя под защиту Пресвятой Девы и других святых, таких же женщин, как они. Но Пресвятая Дева, чистая и полная благодати, так далека от плотския скверны, что в сравнении с другими, создана почти не из природного естества, а из какой-то пятой стихии, как будущий сосуд и обитель Сына Божия; святые же восхотели подражать ей, пренебрегли светом, бежали его, презирая земную красоту в чаянии небесной. Если б позволено было обвинить природу, устроительницу всего сущего, я сказал бы что она сильно проступилась, вселив столь великие и мужественные умы в столь презренные тела, как женские. Потому да умолкнет этот род, порочный и развратный, и да не украшает себя чужими добродетелями! Если между ними объявится порой женщина, заслуживающая уважения, то ее следует хвалить более, чем мужчину, потому что ее победа была труднее; но в этих похвалах не было необходимости нашим прадедам, не доживут до них и наши потомки: скорее лебеди почернеют, вороны станут белыми, чем обратятся на правый путь наши женщины,

затыкающие уши от нравоучений, как аспид от трубного звука за-  
клинателя.

Я не сказал тебе еще, как это отродье жадно, упрямо, строптиво, тщеславно и завистливо, нерадиво, полно гнева и сумасбродно — и уверен, что если б дошли до них мои обличения, они, вместо того, чтоб познать себя и исправиться, обвинили бы меня в том, что я говорю неправду, ибо при жизни я любил, будто бы, не их, а кое-что другое. Дал бы Бог, чтоб они никогда мне не нравились! Теперь мне было бы меньше муки.

Но перейду к твоим занятиям. Они то по крайней мере, если не собственное сознание, должны были бы пояснить тебе, что ты — мужчина, созданный по подобию Божию, совершеннейшее животное, назначенное властвовать, не повиноваться. Это объявилось на нашем прародителе, известно с древности и теперь еще ведется у всех народов, что мужчинам, а не женщинам, предоставлена власть и руководство, чем ясно показывается преимущество первых над последними. Самый простой и незначущий человек, если только он не лишен здравого смысла, превосходит женщину, считаемую за доблестнейшую своего времени, тем более человек, выделившийся из ремесленной толпы благодаря занятиям священными науками и философией. К числу таковых принадлежишь и ты: трудом и талантом, при помощи Божией, в которой нет отказа достойному, если он помолит о ней, ты удостоился приобщиться к нАбольшим. Почему же унижаешь ты себя, подчиняясь дрянной женщине? Сам ты знаешь, что тебе не подобает посещать храмы и общественные места, полные народа, а жить в уединении, изоцряя ум в работе и поэзии, чтобы стать лучше и по мере сил, более словом, чем делом, умножить твою славу, конечную цель твоих стремлений — после надежды на вечную жизнь. В лесах и уединении тебя никогда не покинут касталийские нимфы, которым хотят уподобить себя эти порочные; их красота — небесная, никогда они не пренебрегут тобой, не наглумятся, не затеют с тобою разговора о том, какой лен тоньше, из Витербо или романьольский, или что булочница истопила слишком жарко, а у служанки не поднялось тесто; они не расскажут тебе, что делала в прошлую ночь такая-то соседка, сколько Отче Наш прочитала за проповедью другая, и надо или нет переменить на платье галуны. Они ангельским голосом поведают тебе о том, что было от начала света и поныне, и покоясь с тобою в тени на траве у потока, последних волн которого никто не видел, объяснят тебе причины, почему сменяются времена года, возвращаются солнце и луна; какая тайная сила питает растения и укрощает диких

животных; откуда спускаются к нам души, какими ступенями восходят к бесконечному божественному благу, и по каким стремнинам свергаются в бездны. Затем, пропев тебе стихи Гомера, Вергилия и других древних поэтов, они, коли захочешь, споют тебе и твои собственные. Такое общество всегда тебе открыто, а для кого ты его оставляешь? Праведно поступили бы они, если б изгнали тебя из своего прелестного сонма, когда, отдавшись животной страсти, не стыдясь, грязный и запятнанный, ты снова возвращаешься к ним. И это так и будет, если ты не перестанешь, они также умеют негодовать; а какой стыд будет для тебя, если это случится!

Но знаешь ли ты, под чье иго ты подставил свою выю? Я расскажу тебе о ней, кичащейся своим всеведением дабы ты не подумал, что она отличается от других. Эту женщину, вернее дракона, я почти не знал, когда по желанию друзей и родных женился на ней по смерти первой жены, которая была гораздо ее сноснее. Она была вдова и уже знакома с искусством обмана. В дом она вошла голубкой, но затем стала змеей, и я сознаюсь, что мое излишнее благодушие было причиной всех моих бед. Я пытался было обуздать ее, но зло так укоренилось, что его пришлось переносить, а не врачевать; и я склонил выю, чтобы не подливать масла в огонь. Она то и делала, что кричала и бранилась и била прислугу, и хотя принесла с собой незначительное приданое, держала высокомерные речи, точно я из крестьян, а она из швабского дома, и ее род мне не известен. Им она кичилась, не зная о нем ничего, разве когда, пересчитывая вывешенные в церкви фамильные гербовые щиты, по их количеству и древности судила о своем благородстве. Но если бы на десять недостойных мужчин ее рода, более удачливых своим плодородием, чем доблестью, повесить один герб, и снять взамен его один из тех, которым отличены были между ними получившие рыцарское звание (хотя к ним оно шло, как седло к свинье), я убежден что рыцарских гербов не оказалось бы ни одного, а негодных целые сотни. Невежды полагают рыцарское звание в платье, подбитом беличьим мехом, в мече и позолоченных шпорах, которыми мог бы обзавестись любой ремесленник и крестьянин, в куске ткани и каком-нибудь гербе, который можно было бы повесить в церкви по смерти. Таковы нынешние рыцари; на сколько они далеки от настоящих, то ведаёт Господь.

Так величалась она и кичилась, а я, сложив по трусости оружие, ожидал, что она опомнится, пока не увидел, что принес к себе не мир и покой, а распрю и пламя и недолю. Я начал избегать своего дома и возвращался в него к ночи, как в тюрьму. Став хозяйкой, она



во всем завела свои порядки: носила платья, какие ей хотелось, не те, какие я ей делал, проверяла счета моих доходов, распоряжаясь деньгами по своему усмотрению и уличая меня в недоверии, если я медлил передать ей что-либо оставшееся у меня на руках. Так она добилась своего, слагая оружие лишь после победы, тогда как я, по неразумию своему обнаруживал все бóльшую слабость, желая избегнуть неприятностей; за эту-то слабость я и горю теперь в этой огненной одежде. Теперь-то она и начала проявлять все те доблести, о которых так торжественно докладывал тебе твой друг. Мне они хорошо известны. Нет в нашем городе женщины суетнее ее. Вообразила она себе, что особая красота женщины в полных, румяных щеках и развитых, выпяченных ягодицах; это, слышно, нравится в Александрии. И она добилась того: пока я постился, в видах сбережения, она питалась каплунами, макаронами с пармезаном, который пожирала, как свинья, не с блюда, а в миске, словно недавно вышла из «Голодной башни». Ей требовались молочные телята, серые куропатки, фазаны, жирные дрозды, голуби, ломбардские похлебки, макароны с начинкой, оладьи с бузиной, крупичатые торты и рагу, которые она глотала, как крестьянин фиги, черешни или дыни, когда он до них доберется. Кислого и едкого, что сушит тело, она избегала, как врага, зато знала толк в хороших винах и попивала усердно, в чем ты сам мог бы убедиться, пока я был в живых, если б обратил внимание на ее щеки и болтливость. Не знаю, похудела ли она с поста, который наложила на себя в мое спасение; если б даже она держала его при тебе и мне пришлось в том расписаться, я все же не поверил бы тому.

При этих словах, не смотря на печальное настроение духа и раскаяние, я не мог удержаться от смеха. А дух продолжал, не смущаясь: И вот твоя дама, настоящая чертова прелестница, не удовольствовалась тем, чтобы стать плотнее, а пожелала, чтоб тело у нее было нежное и блестящее. Стала она готовить разные притирания, перегонять воду; понадобилась ей кровь разных животных, всякие травы; мой дом наполнился горнами, кубами, горшечками, склянками; не было во Флоренции аптекаря, огородника или булочника, который бы не работал на нес. Всем этим она притиралась и красилась так, что когда мне случалось поцеловать ее, я увязал губами. Ты не поверишь, какими сортами золы она мыла свою златокудную головку и с каким торжеством совершалось хождение в баню, из которой она приходила более испачканной, чем отправляясь туда. При ней всегда были две или три женщины из тех, которые ходят лощить стеклом кожу дам на лице и шее, вырывая ненужные во-

лоски, а с этим полезным ремеслом соединяют и другое: посредниц любви. Но мне не хватило бы недели, если б я хотел рассказать, как приобреталась и охранялась эта искусственная красота, скорее безобразие. Всего то она боялась: солнца и воздуха, пыли и ветра; муха, севшая на лицо, была для нее таким несчастьем, что в сравнении с ним потеря Акры христианами показалась бы пустяком. Случилось однажды, что муха пристала к ней, а она только что притерлась каким-то новым зельем; как она ни отгоняла ее, та назойливо возвращалась; тогда схватив метлу, она стала метаться за ней по всему дому, и не попадись она ей под руку, я уверен, она лопнула бы от злости. Как ты думаешь: если бы о ту пору ей попался какой-нибудь щит или золоченый меч ее родичей-рыцарей, ведь она наверно вступила бы с мухой в бой? Ночью жужжание комара приводило ее в неистовство, весь дом поднимался на ноги, и она не ранее успокаивалась, как когда ей подносили преступника, осмеливавшегося досаждать ей и грозившего испортить ее прелестное личико. Но всего потешнее было видеть, как она убирала себе голову. Когда она была помоложе (ближе к сорока, чем к тридцати годам, хотя, будучи дурной счетчицей, она давала себе двадцать восемь лет), она всегда запасалась, в какую бы то ни было пору года, зеленью и цветами шести сортов, из которых плела гирлянды. Встав спозаранку, омыв своими снадобьями лицо и шею, она садилась у зеркала или и у двух, чтобы видеть себя со всех сторон, какое зеркало ей более польстит. Окруженная склянками и всякими зельями, она приказывала причесать себя, на волосы клала какую-то повязку из пеньки, которую зовут косами; пришпилив её тонкой шелковой сеткой, она начинала накалывать цветы, убирая голову, словно павлиный хвост, и все смотрясь в зеркало. С годами, когда в волосах показалась седина, хотя ее ежедневно удаляли, вместо зелени и цветов явились шпильки и вуали. И здесь та же возня: Этот вуаль слишком мало поджелтели, говорит она служанке, этот слишком свесился; тот спусти, этот подтяни на лбу; переколи пониже шпильку да возьми стеклышко и соскобли волосок под левым ухом. Случалось, что служанка не угождала, и она гнала ее, раздражаясь бранью: Пойди прочь, тебе бы только кастрюли чистить! Позови ко мне такую-то. И работа начиналась снова; затем, помуслив палец, она, точно кошка лапкой, принималась приглаживать тот или другой волосок, и не только гляделась в зеркало, но приказывала и служанке оглядеть себя, все ли у нее в порядке, точно дело шло о ее чести, а когда выходила к поджидавшим ее подругам, беседа шла о том же. Я хорошо знаю, что все это не новость, ведь другие женщины делают тоже самое;

тем скорее ты поймешь, что из всего этого выходило. Когда ее спрашивали, для кого она так рядится, она отвечала, что для меня, чтоб мне понравиться, а я будто волочусь за служанками и пропащими женщинами. Она отъявленно лгала, а я так не раз замечал, как она бодрилась, словно сокол, с которого сняли клобучек когда проходил какой-нибудь молодой человек; а в каком она бывала восторге, когда ее хвалили, и как готова была убить своими собственными руками того, кто отозвался о ней нелестно! Такою-то суетностью и прелестями и откровенностью взглядов и слов, не приличных порядочной женщине, она привлекала к себе любовников, из которых многие добились цели, не утолив ее пламени. Я не пускаюсь в подробности, это было бы плохим средством к твоему уврачеванию, ибо я знаю, что мужчины, желающие сближения с женщиной, тем сильнее пылают, чем страстнее она оказывается. Скажу только, что жив еще некий рыцарь, когда-то более храбрый, чем удачливый, которому она отдалась еще при моей жизни, что я подозревал, а теперь знаю. Здесь она проявила свою щедрость, о которой говорил твой друг, одаряя его не своим, а моим добром, когда вещами, когда деньгами. Был у меня еще сосед, которого я более любил, чем он соблюдал мою честь; ему и еще одному своему родственнику она также не отказала в своих объятиях.

Мне надо было бы по порядку рассказать о любезности, услужливости, которая, по ее словам, так ей по сердцу. Разумеется, по сердцу: пока она была молода, она никогда не отказывала в услугах, и теперь ожидает, что и ей не будет отказа. Дивлюсь я, как тебя она обошла; должно быть. Бог тебя хранит. Нравятся ей еще мудрые люди; она, в самом деле, мудрейшая; но тебе известно, что мудрость бывает разная. Одних славят за то, что они отлично понимают священное писание и умеют истолковать его, другие, сведущие в законах, дают полезные советы; иные, испытанные в делах правления, знают чего избегать, чему следовать; многих считают умными, потому что они хорошо ведут торговлю, занимаются ремеслом, домашними делами. Но есть еще род мудрых людей, о которых ты еще не слышал в школе между философами. Как последователи Сократа и Платона носят их имена, так есть еще одна секта, принявшая имя некой достойной женщины, о которой ты, чай, не раз слышал: мадонны Чангеллы. По ее предложению, после долгого и серьезного спора на соборе женщин положено было за правило: всех женщин, обладающих смелостью и отважностью и умением отдаваться скольким бы мужчинам им ни пожелалось — считать мудрыми, всех же других за сопливых дур. В этой-то мудрости она

превзошла всякую сивиллу, и не раз говорили, уж не ей-ли достоин занять место покойной Чангеллы и ее наследницы, монны Дианы. Ты, стало быть, ошибся, иначе поняв ее мудрость и требование ею — мужества. Ей нужны не бранные подвиги и не пролитие крови, а другое; любой сарацин с площади будет ей Ланцелотом, Тристаном, Оливьером, коли знает свое дело<sup>8</sup>; если годы не отняли у тебя прежней силы, тебе нечего было отчаяваться — в заблуждении, что от тебя ожидают храбрости Амарольда Ирландского<sup>9</sup>.

Она говорит, что любит людей благородных; в благородстве она, ничего не смыслит, и если сказала так, то лишь затем, чтобы и тебе показаться дамой древнего рода, ибо она считает свой род старше королевского баварского или французского. Что она благородна и — дама, этого она никогда не докажет, а что она древняя — в этом вскоре убедит ее лицо. Пишет она тебе, что любит людей, умеющих красно говорить; верно то, что она бесконечно болтлива и одна своей болтовней помогла бы луне в ее превращениях гораздо более, чем все тазы древних. То она хвастается в кругу женщин: моя родня, мои предки! и млеет от восторга, когда ее слушают или титулуют. Ей известно, что творится во Франции, что приказал английский король, будет ли в Сицилии урожай, привезут ли генуэзцы или венецианцы пряности с востока, спала ли прошлую ночь королева Джованна с мужем и что затевают у себя флорентийцы, — хотя разузнать об этом ей было бы не трудно, стоило только повидаться с кем-нибудь из наших правителей, они держат тайну так же, как корзина или решето воду. Если правду говорят естествоведы, что у животного тот член вкуснее, который наиболее упражняется, у нее всего вкуснее язык; и во сне он болтает. Кто, не зная ее, послушал бы, что она говорит о себе, счел бы ее за святую, высокородную; знающего оно тошнит. А попробуй-ка не поверить ее рассказам, она готова подражаться, ибо мнит себя храбрее Галеотто с Дальних островов, либо Фебуса: не раз она говорила, что, будь она мужчиной, то превзошла бы не только Марка красавца, но и Герардина, бившегося с медведицей.

Но перейду к некоторым сокровенным предметам, которых ты не мог ведать, да и я был бы счастлив, если б их не познал. Сначала устраню твое сомнение: ты скажешь, что не след говорить о подобных вещах, что они и не приличны в устах такого человека, как я, направившего свои стопы к вечной славе. На это я тебе отвечу: не всякому недугу разумный врач полагает ароматическое средство, иная болезнь требует и вонючего. Таковым недугом является твоя страсть; крепкое, грязное слово действует здесь быстрее, чем друже-

ственные и пристойные убеждения. Времени у нас немного, а твое неупорядоченное желание требует скорого врачевания. Выслушай-ка терпеливо, не обвиняя медика. Ты и многие другие любовались на цвет ее лица, похожий на утреннюю розу, и принимали его за естественный. Посмотрел бы ты на нее утром, когда она встает с постели, с лицом зелено-желтым, прыщавая, точно птица в мытиях, морщинистая и облезлая; как, сидя на корточках, она греется у огня, напялив на голову чепец, с шарфом на шее, в теплом капоте, и кашляет и отплеживает шлепки, вытаращив глаза с синеватыми подтеками. Ты говоришь, что при виде ее красоты страсть забирала тебя, как огонь маслянистые предметы; тогда она показалась бы тебе грудой грязи или навоза, и ты обратился бы в бегство. Но ты знаешь, что и задымленную стену и лицо можно выбелить, и что тесто поднимается, если его бьют. Так и ее красота — искусственная: и стройный стан, и грудь и все другое — не то, чем тебе кажется. Все вы принимаете кукушку за ястреба, так и ты, хотя тебе, более, чем другим, подобало бы внимать истине, не тому, что кажется.

Что касается до отчаяния, в которое ты впал вчера по твоему неразумию, то я начну рассказ несколько издали: и тебе будет от того польза, да и я облегчу хоть немного свое негодование. До того довела меня эта мерзкая женщина, что от печали, которую я тайл, кровь воспалилась и, внезапно наполнив сердце, была причиной мгновенной смерти. Как только душа моя отрешилась от бренного тела, я познал, что то была за женщина; она же, несказанно довольная, тайком припрятала многое из моих вещей и деньги, наследье моих детей, которые я безрассудно ей вверил, а на людях проливая притворные слезы, громко сетуя и проклиная судьбу и объявляя о своем намерении — поселиться в какой-нибудь келейке при церкви или монастыре и здесь проводить время в молитве. Она так ловко притворялась, что все ей поверили; и она устроилась по близости того монастыря, где ты ее видел, ибо здесь она была не на виду, и ей легче было отдаваться своим желаниям, потому что, если б не достало других любовников, монахи всегда на лицо: они люди святые и сострадательны к вдовам. И вот она выходила в церковь, с черным покрывалом на лице, спущенным глубоко на глаза, точно собралась строить буку; то откинет его, то запахнет, то выставит руку, на черном она выходит еще красивее. Так она охотится на молодых людей, не довольствуясь однообразной пищей; так и ты попался в ее сети. Бесконечно перебирая четки, она и не помышляет о молитвах; ей не до того: надо перекинуться словом с соседкой, той шепнуть, эту выслушать. Ты скажешь, что все это она возмещает в своей келье,



но за меня она не молится, это я ощутил бы, молитва за усопших утишила бы мои жгучие страдания, как холодная вода ожоги; может быть, она молилась за другого: недавно у вас умер некто, и это так ее опечалило, что целую неделю она не прикасалась к яйцам и макаронам. Ее обычные молитвы — французские романы и латинские песни, песня о «Загадке» (Indovinello) и повесть о Флорио и Бьянчифьоре; она млеет, читая о любовных свиданиях Ланцелота и Тристана с их милыми, а в промежутке забавляется, точно девочка, с ручными зверьками. В числе многих ее приятелей состоит и упомянутый мною второй Авессалом, которым она не особенно довольна; пошел он на это дело, презрев то, что сделал для него Господь, хотя и многие другие законные причины должны были бы воздержать его. Он за это и поплатится: есть у него сын, такой же ему родной, как Христос Иосифу, тот за меня отомстит; не миновать ему, что говорится в пословице: как осел лягнет в стену, так и ему отдастся, кто орет в чужом поле, вызывает на то же.

Таковы то похвальные нравы той женщины, и нечего было тебе так принимать к сердцу обиду. Но расскажу тебе, как и что я узнал о твоём письме. До нас доходят вести с того света, и нам бывает порой дозволено являться сюда. Случилось, что в ночь того дня, когда ты писал ей, явился и я, влекомый каким-то чувством сострадания, побуждающим нас любить не только друзей, но и недругов. Я вошел в ее спальню, и все осмотрев, уже хотел было удалиться, когда при свете лампы, теплившейся перед ликом Мадонны, увидел ее на ложе, и не одну. Они чему-то смеялись; не прошло много времени, как она поднялась по просьбе своего милого, зажгла свеч, и достав из сундука твоё письмо, вернулась. Стали они читать, и я слышал, как они глумились, поминая твоё имя: и простак-то, и дубина; должно быть, писал в просонках, принял одно за другое; а как ты думаешь: хватило ли бы его? А ещё считает себя умным! Чем бегать за благородными дамами, лучше бы пошел полоть свои луковицы. Палки ему нужно, отхлестать бы его по щекам телячьим желудком, пока хватило бы того и другого! Досталось там и твоим дорогим музам, Аристотелю и Туллию, Виргилию и Титу Ливию, которых ты считаешь своими друзьями и ближними. Их смешивали с грязью, на счет их кичились и насмехались, должно быть, поели они и выпили в излишестве. Тут они условились и на счет ответа тебе, и если б не опасения любовника, боявшегося ее тщеславия и ветрености, ты получил бы и еще несколько посланий. Чтобы сказал ты, если бы все это сам услышал? Наверно бы повесился! Но если б ты был в здравом уме, не говоря уже о том, что могла раскрыть тебе твоя

наука, тебе следовало бы посмеяться, ибо твоя милая ничем не разнится от женщин вообще. Сам ты не раз говорил, что им в высшей степени нравится, когда их считают красивыми, и что более, чем на зеркало, они полагаются на число ухаживателей. Вот почему и ей были приятны твои взгляды, и она показывала на тебя: она, стало быть, еще может нравиться, если увлекся ею ты, известный знаток женских форм. Иной объяснит это пожалуй иначе: она исправилась, обратилась на правый путь, а ты приставал к ней; она и показывала на тебя: Посмотрите-ка на врага Божия, не дает мне спастись! Может быть, делала она это не с той и не с другой целью, а просто, чтобы пошутить и поболтать. Какая-бы тому ни была причина, ты должен был знать, что нет женщины разумной, что все они жестоки, низки и ужасны.

Но оставим это; допустим, что все, что твой друг рассказывал о ее доблестях, верно; ведь эти добродетели были несовместны с твоим посланием, ты должен был понимать это, и если увлекся, то, очевидно, не ими, а ее красотой. И ты не разглядел, что она стара и противна, и готов был умереть! Неужели ты считаешь себя ни во что, так малодушен, неотесан, худороден? Ты надеялся овладеть ее дряблыми прелестями, но если бы ты знал, что это такое, твое желание было бы менее страстно. Коли ты рассчитывал разжиться от нее, то ошибся: она была щедра моим добром, а теперь ей приходится жаться. Годов тебе она не могла бы ни прибавить, не убавить, ни научить, разве дурному, ни доставить блаженства, ибо ей знакомо лишь блаженство плоти, чем она сама себя осудила на вечные муки. Может быть, она могла сделать тебя приором, чего теперь у вас так добиваются; но я знаю, что сенаторы вашего Капитолия не склоняют ныне слуха к хищным высокородным волкам, от которых и она произошла, для этого надо было бы, чтобы она так же приглянулась всем избирателям, как приглянулась тебе; но едва ли такие безумцы найдутся. А сколько именитых, благородных мужей я мог бы назвать, имена которых ты припомнишь теперь к своему вреду, когда мог бы вспомнить о них с пользой для себя! Тебе стоило только захотеть, и ты был бы им дорог, но вследствие излишней и непохвальной гордости ты не сходишься с ними, а если с кем сойдешься, не выносишь, если он не потворствует твоим нравам и не потекает, тогда как все это подобало бы делать тебе. Они могли бы возвысить тебя, она лишь принизит, а ты склонился перед нею, ветхой, задыхающейся старухой, которой следовало бы не показываться в людях, а сторожить золу в комельке. Не говоря о том, что по милости Божией ты приобрел своими занятиями, а лишь о том, чем одарила

тебя природа, тебе надо было бы стыдиться — а ведь ты горд — что тебя, как коршуна, подманила пададь. Природа оказала тебе благодеяние, сотворив тебя мужчиной; я уже объяснил тебе, на сколько он выше женщины. Если она показалась тебе высокой и стройной и красивой, то ведь и ты не малого роста, не хуже ее сложен и среди мужчин не менее красив, чем она между женщинами, хотя она притирается, тогда как ты редко, если когда-нибудь, моешься простой водой; я скажу даже, что ты красивее ее, хотя и не занимаешься собой, что мужчине и неприлично; одно только, борода у тебя сильно поседела и побелели виски, а у нее нет, хотя она и гораздо старше тебя. И все-же ей бы подобало скорее искать твоей любви, не тебе ее добиваться. Одно, по твоему мнению, за ней преимущество: что она благородна; но из-за этого она не отринула бы тебя: что такое ее Авессалом? Ты заблуждаешься, если держишься народного мнения о благородстве. Неужто ты не знаешь, что истинное благородство и что ложное? Нет мальчика в философских школах, который бы не знал, что по отцу и матери мы все равны, созданы одним Творцом, одарены свободной волей, и что, кто поступал добродетельно, того звали благородным, кто же отдавался порокам, то наоборот. Каково же благородство ее родичей и предков? Род их был многочисленный, ибо они плодились — но это дар природы, не доблесть; сильные числом, они разбогатели разбоем и грабежом и, возмнив о себе, осмелились возложить на себя рыцарское звание, подобно благородным. А что достойного и похвального совершили они для государства или для частных людей? А если б кто и совершил, то причем тут она? Благородство ведь нельзя передать в наследье; у тебя его больше, хотя и нет фамильных гербов, но любя ее, ты запятнал бы его, если б даже за тобой стоял весь род короля Банда Бенуакского.

Дух умолк, выжидая моего ответа. Я слушал его все время, опустив голову, как человек, сознающий свой проступок. Благодатный дух, начал я, ты научил меня, что прилично моему возрасту и занятиям, раскрыл низость той, которую я избрал дамой своего сердца, показал, на сколько мужчина по природе благороднее женщины, и что такое — я. Сам я стал совсем другим, но тем яснее представляется мне моя греховность; это убьет меня, и хотя велико милосердие Той, которая послала тебя в мое спасение, я отчаяваюсь в нем. — Не бойся, отвечал он, божественная благодать прощает и тяжелые грехи, если в них принесено истинное раскаяние. — Господь знает, что я раскаялся; но что мне делать? наставь меня. — Ты должен возненавидеть, что любил, возненавидеть ее красоту и полюбить

благо твоей души. Затем ты должен отомстить ей. Ты знаешь, что ученые так умеют возвеличить, хотя бы и не заслуженно и ложно, тех, кого захотят прославить, что кто бы ни послушал их, поверит, что те люди по своим заслугам и доблестям превыше неба; наоборот: того, кто возбудит ваш гнев, будь он добродетелен и полон достоинств, вы низвергаете в глубину ада речами, внушающими доверие. Ты хотел ее возвысить; умали ее; ты скажешь правду и, может быть, это будет ей во спасение. — Если Господь сподобит меня выйти из этого лабиринта, я постараюсь удовлетворить тебя; мне не надо будет особых побуждений, чтобы облегчить душу, никому другому я не предоставлю отомстить за оскорбление, лишь бы мне хватило жизни написать о ней в стихах или прозе; а настоящую месть, которую люди видят в одном лишь оружии, я предоставляю Богу. Я ей покажу, что не над всеми мужчинами можно глумиться одинаково, и расскажу о ней такое, что она еще посетует, зачем я попался ей на глаза, как я скорблю, что ее увидел. Лишь бы не изменилось у меня настроение, а то у нас в городе долго будут петь про ее низости и гадости, и я потщусь сохранить это для будущего в более долговечных стихах.

Он молчал, и я начал снова: Скажи мне на милость: почему на тебя, а не на кого другого, выпала доля явиться сюда на мое спасение? Я не помню, чтобы на том свете мы вели с тобой любовь или дружбу. — Здесь нет ни друзей, ни родных, отвечал он, все мы горим любовью, всякий из нас был бы на это готов и годнее меня; если выбрали меня, то потому, что та женщина была моею, меня ты должен был устыдиться более, чем всякого другого, да и всякий устыдился бы рассказать, что рассказал я; потому, наконец, что мне ты поверил бы, как человеку, который был в состоянии все знать. — Какие бы тому не были причины, я тебе верю и благодарен; но скажи мне во имя того успокоения, которого ты чаешь, чем мне воздать тебе, что сделать для облегчения твоей муки? — Моя негодная жена забыла меня, у нее другие заботы, дети слишком малы, родные лучше бы заботились о другом, чем об обирании опекаемых. Подай по мою душу милостыню и вели отслужить обедню. Но час твоего освобождения приблизился; посмотри на восток!

Над горами показался свет, будто перед восходом солнца, луч пробился до нас, как бывает, когда солнце проглянет из-за туч, намечая на земле светлую стезю. Чувство раскаяния, сознание греха овладело мною сильнее, точно какая-то тяжесть свалилась с плеч, и я ощутил себя легким и проворным. Ступай по этой стезе, сказал мне дух, да не сбивайся, иначе ты запутаешься в кустарнике, и не-

известно, удалось ли бы тебе снова дожидаться помощи. — Он направил шаги к высоким горам, увлекая меня за собою не без большого усилия. На вершинах мне открылось чистое, светлое небо, воздух был мягкий, все зеленело и цвело, так что я забыл об испытанных невзгодах; оглянувшись назад, я увидел не долину, а что-то глубокое, спускавшееся до преисподней, полное ночного мрака и сетований. Ты свободен, сказал мне дух, — и такова была моя радость, что я хотел броситься на колени перед моим благодетелем — и проснулся, в поту, точно в самом деле совершил восхождение. Я стал размышлять о видении и почел его правдивым, а о чем дотоле не знал, то подтвердили впоследствии расспросы. — Солнце уже поднялось, когда, отправившись к друзьям, с которыми привык отводить душу, я рассказал им мой сон; точно вдохновленный Богом, я решился выйти из плачевной долины, и не прошло несколько дней, как я снова располагал собою, как, бывало, прежде. А ее я еще накажу моим писанием: перестанет она показывать своим любовникам письма и будет поминать меня с печалью и стыдом!

Но надо дать отдохнуть руке; ты кончена, малая моя книжка, будь полезна, особенно молодым людям, а негодным женщинам не показывайся на глаза, ни той, которая вызвала тебя. От нее тебе будет худой привет, да она стоит и бОльшей кары, чем та, которую ты несешь с собою. Она и дождетя ее вскоре, по попущению Господа, подателя всяких милостей.

### III

Данте и Ювенал, новелла, полная самого откровенного, иногда грубого шаржа, и мотивы чистилищной легенды — вот впечатление, которое выносит из Корбаччо читатель, преследующий не психологические, а стилистические цели. С такого именно чтения полезно начать, чтобы тотчас же разобраться в некоторых вопросах. Ювенал дал несколько штрихов и красок для реальной картинки нравов, в которой все верно, до цинизма, и все преувеличено в свете завязтой страстности. Это бьет в глаза и так поглощает внимание, что за массой беспощадной житейской грязи мы невольно забываем, где мы, забываем рамку рассказа, где все полно дантовских воспоминаний, не только в стиле, но и в мотивах: жизнь, отданная плотской любви, аллегорически изображена, как чистилище, с перспективой ада в глубине; мрачная, суровая долина, отвечающая дикому лесу, в котором заблудился Данте; как он зашел туда, он не знает, так и Боккаччо; того и другого выводят из юдоли плача чудесные



руководители, посланные Пресвятой Девой, обоих освещает аллегорическое солнце истины, сознания, и оба, выбравшись на правый путь, готовы броситься на колени перед своими спасителями.

Таковы дантовские элементы Корбаччо, но мы их забываем за колоритным образом злой жены, он становится для нас целью, и мы ни разу не настраиваемся благоговейно к идеям спасения и нравственного улучшения. Данте также бывает реален и резок, но все это исчезает в общем тоне поэмы, и мы не сбиваемся с светлой стези; у Боккаччо эти противоречия не примирены; он сам чувствует несообразность грязных откровений в устах духа, кающегося и наставляющего к тому другого — и спасается софизмом, что некоторые болезни требуют сильных средств. Дело в том, что здесь, как нередко, дантовские мотивы явились для него чем то внешним, поэтической формулой; они попали в тон, когда он переживал то настроение духа, которое выразилось в его Амето и Любовном Видении, но ему не доставало мистической веры Данте, его религиозность несколько внешняя: он особо чтит Богородицу, славословил ее, верил в спасительную силу молитв за усопших, в действие заупокойной обедни и милостыни по душу, но мирские мысли не покидают ни его, ни его руководителя, от которого мы ожидали бы совершенно иного настроения. Между тем именно он все еще полон плотского гнева и в рассказах о мерзостях жены ищет средства успокоиться, отвести душу. Он и обновляет в Боккаччо жажду мести: она будет ему искуплением, искуплением и ей; так говорит дух чистилища, где все одинаково горят — любовью. И Боккаччо страстно отдается этой идее: он отомстит жестоко, всенародно, но этого мало, и он призывает еще кару Господа, Бога любви, как в самом начале памфлета идея мести представляется небесным утешением, ниспосланным свыше.

Корбаччо — песнь беспощадной мести, за оскорбленное самолюбие мужчины, сказать точнее: физиологическое самолюбие. Эта непривлекательная сторона памфлета бьет в глаза, ее не удалишь, как впечатление восьмой горациевской эноды, но она получает несколько другое освещение, если спросит себя; кто настоящий объект памфлета? Не женщина, обманувшая Боккаччо, а он сам, старый Дионео, знаток женщин плотски-страстный, сознающий себя рабом своего темперамента, в самой борьбе с ним призывающий образы плоти. Образы отрицательные, пугающие своей мерзостью; этот шарж — признак слабости: человека плоти надо было побить ею же, надо было вдуматься в обратную сторону медали, заставить себя возненавидеть то, что прежде пленяло. И Боккаччо негодует

на себя, старается запугать воображение, вживаясь в понимание любви, как греха и недуга, раскрывая самые грязные ее подробности, упиваясь их безобразием, приучая себя к ненависти, как созерцание трупа приучало аскета к идее смерти; может быть, торжествуя сарказмом над бессилием. За эту внутреннюю борьбу темперамента и сознания поплатилась — женщина; женщины вообще. Мизогинические течения средневекового общества, как-то мирившиеся с идеалистическими, слишком хорошо известны: они питались изречениями Сираха, Секунда и Морольфа<sup>10</sup>, отражались в фаблю и сюжетах загожей восточной сказки, взлелеяли и свою теоретическую литературу — от популярного трактата Теофраста, которым пользовался дьякон Лотарий (Иннокентий III) и *Roman de la Rose*, до Валерия, Андрея Капеллана и Матеола<sup>11</sup>. Этими и подобными статьями, соединенными в один том, зачитывался Оксфордский клерик у Чосера<sup>12</sup>; читал и хохотал к великому смущению Батской вдовы: примеров о злых женах он знал больше, чем сказаний о добродетельных женах Библии; да разве клерик может сказать что-либо доброе о женщинах, коли не о святых?

Боккаччо впадает в это настроение под влиянием жизненного момента; к Теофрасту он не раз обратится впоследствии; теперь он прислушался к Ювеналу. От характеристики женской слабости и требования мужского руководства, о чем говорится в иных новеллах Декамерона, он сразу переходит к завязтому ригористическому взгляду на женщину, как неспособную к добру, как на создание низшего разбора; в свете правят мужчины: самый презренный из них лучше всякой женщины, которую почитают достойнейшею. А он допустил себя унижаться перед развратной, молодящейся старухой, подбодряет себя Боккаччо; чего искал он в ней? Ведь не наживы же, говорит он, обрушая на себя ненужное подозрение. Одним разве она выше его, что она дворянка; но тут перед ним восставал болевой вопрос, издавна тревоживший его в его отношениях к Фьямметте. Ему больно было его социальное неравенство; порой он утешал себя уверением, что его мать из хорошего рода, он пошел в нее, но затем в нем проснулось самосознание, гордость, это «*intime avènement des gueux qui sont rois*»<sup>13</sup>. Не сословный протест, как у Васа, Рютбёфа и *Jean de Meung*<sup>14</sup>, не учение о нивелирующей силе любви, как у Андрея Капеллана, побудили его теперь открыто поставить вопрос о благородстве, как личной доблести, бросив перчатку родовой знати. В Италии это решение не ново: мы встречаем его у Генриха из Сеттимелло, Данте, Биндо Боники, Петрарки, Заноби (в венчальной речи) и др.; у Боккаччо в предисловии к переводу 4-й декады Ливия,

в Декамероне, позднее в *De Claris Mulieribus*, в *De Casibus* по поводу Астиага, выдавшего свою дочь за простого мещанина, дабы в их сыне (Кире) неблагородная кровь отца умерила прирожденное от матери величие духа. Точно у нас души от родителей, говорит Боккаччо, Сократ пошел в отца-мраморщика и мать повитуху, а Еврипид и Демосфен вынесли свой пафос и красноречие из материнской утробы? Иной раз проскользнет и старый взгляд на родовитость, когда напр. выражается недоверие, чтобы философски-образованная гетера Леонциум вышла из плебса, ибо из такой грязи редко выдаются великие таланты, а если и посылаются небом, то их блеск бывает омрачен низменной долей. В Корбаччо этих колебаний не заметно: у Боккаччо нет фамильных гербов, он из крестьян Чертальядо, славной своими луковицами, куда иронически и отсылает его дама, а между тем, он благороднее ее: его ум, его занятия выдвинули его из толпы; он не кое-кто: не будь его горделивая неподатливость, его *superbia*, он был бы своим человеком у людей, которые могли бы его возвысить. Его слово-сила: он сам может и возвеличить и принизить; у него есть слава, которую он обязан умножить и лелеять. Так говорил Памфило, приготавливая свое общество к назидательным рассказам последнего дня Декамерона: беседуя о делах великодушия «и совершая их, вы несомненно восплачете духом... к доблестным поступкам, и наша жизнь, которая в смертном теле может быть лишь кратковременной, продлится в славной молве о нас, а этого должен не только желать, но всеми силами добиваться и оправдывать делом всякий, кто не служит лишь своей утробе, как то делают звери». «Почему не тщимся мы доблестными поступками распространить нашу славу и тем продолжить наши краткие дни?» спрашивал Боккаччо в одном сонете; «вот, что нам приносит, что сохраняет нашу честь, снимая с нас пелену годов, украшая долголетием». До тех пор тому мешали женщины и любовь; касталийские музы, то есть наука, были забыты, и они гневаются; скорее же к нимфам, в тихий лес, где они вещают о тайнах естества и божественной благости, где поют стихи Гомера и Виргилия, быть может, и твои, говорит за Боккаччо его руководитель. Музы не покинут, они не женщины.

«Музы — женщины», писал Боккаччо в защиту первых трех дней Декамерона, и хотя женщины «и не стоят того, чего стоят музы», тем не менее они «были мне поводом сочинить тысячу стихов, тогда как музы никогда не дали мне повода и для одного»; Ты мой Аполлон, ты моя муза, пел когда-то Боккаччо Фьямметте. Теперь фронт переменялся: музы не женщины, а нечто серьезное, целомудренное и назидательное, что не всякому доступно и граничит

с наукой и философией. Они требуют иного служения и иной поэзии; когда я был молод, я писал, что подсказывала мне любовь, звучные стихи шли на встречу той, которая воспламенила мое сердце; с тех пор как смерть смежила очи, где я почерпал свою силу, стихи мне опостылели; я направил стопы вслед ей, а годы сделали мою рифму хриплой. Так говорил Боккаччо по смерти Фьямметты: нет еще отрицания поэзии любви, нет только ее мотива; но годы проходили, и вместе с ними литературные требования к себе становились строже. «Я надеялся воззойти на ту и другую вершину Парнаса, отвесть касталийского источника, украсить голову венком, столь любезным Аполлону; скромный наследник старых певцов, я предался песням, хотя не глубоким, но легким и игривым. Но суровый, тернистый путь жизни и усталые, седые годы отняли у меня надежду добраться до цели, и я бросил стихи и рифмы и утомленные думы, и теперь уж не напишу, как писал бывало». Я даром потратил время и труд, всему виною слабость моего дарования, не способного подняться на такую высоту, досказывал он в другом сонете. Это то же болезненное самосознание, которое заставило его сжечь часть своих юношеских итальянских стихотворений, когда он убедился, что ему не сравниться с лирическими красотами Петрарки.

Итальянские, то есть, главным образом, любовные стихотворения; оставалась строгая латинская поэзия. Она манила его издавна, еще у гробницы Вергилия; ее, очевидно, он имеет в виду, когда оплакивает упадок древней доблести, делавшей Италию царицей мира, и касталийских муз, забытых обществом, преданным любовстванию. Он сам боится потеряться в нем и молит Феба о помощи, о лавре для своей сидящей головы. Поэзия — это Саффо XII-й эклоги, обитающая в лавровой роще, в сонме девяти муз, между ними последняя и главная та, которая в сущности и делает поэзию — поэзией: Каллиопа, благозвучная.

В этот заповедный лес зашел молодой Аристей-Боккаччо и срывает ветки лавра. Что ты делаешь, безумец? останавливает его Каллиопа; разве не знаешь, что эти ветви суждены тем, кто их заслужил по праву? — Вот преступление! Я сорвал всего три небольших, прельщенный их ароматом; нимфа ли ты, или богиня, пойдика, потряси те дубы и подбери желуди — я не мешаю. — Ты возбуждаешь во мне смех, сравнивая дуб с лавром; разве не знаешь ты, неразумный, что желуди — пища свиней, лавровый венок назначен поэтам, которых Аполлон поставил над своею рощею и священным источником, над Каменами, кифарами и плектрами. — Так я в священной роще Аполлона, куда так стремился! Как увидеть мне славный сонм поэтов,

воспетый Мопсом (Петраркой), и нимф, и Саффó? — Какое дело тебе до Саффó, тебе, мальчишке, свинопасу? — Я пылаю к ней, я всех для нее оставил и жажду ее объятий; хочу увидеть ее, невиданную; зачем — не спрашивай. — Ты жаждешь объятий Саффó! Но это немислимо; помнится, еще недавно ты чистил стойла, готовил постилку свиньям, грязный и паршивый, а теперь полюбил Саффó! Уж не ожидает ли тебя Паллада? — То была не Паллада, а Аргус (= король Роберт); но почему бы не любить мне Саффó? Меня долгое время любила Галатея, любила Филлида, но теперь мягкая волна уже покрыла мои ланиты. Мудрый Пан вручил мне свирель, научил когда-то и песням. Я не из толпы: моя мать — Кирена, фессалийская нимфа, мне имя Аристей, я собираю мед и желуди древнего аркадийского леса; казалось бы, знаю тебя! — Да это ты?; как же это я тебя не признала! Ты ведь великий Орфей, судья богинь! Не тебя ли я видела прежде, как ты пел на площадях народные песни, при одобрении глупой толпы? — Да, это я, сознаюсь, но ведь вкусы меняются, мальчику нравилась народная песня, ее я оставил хромому Вулкану, с годами явилась и новая любовь. — Давно-ли Батт не умел связать двух слов, а теперь, став Аристеем, стремится к высотам Парнаса, охваченный страстью к ее богиням? Чего только не делает Олимп? Ты воображаешь себе, что это Филлида или Луписка, которых вы яблоком подманиваете в лесах — но ведь то великая богиня, которую познали немногие. — Если меонийский пастырь (Парис) видел супругу громовержца и обнаженных богинь, почему же мне не увидеть Саффó? — Но как узнал ты о ней? — Вчера Сильван (Петрарка) сошелся с Виргилием (Minciadem) там, где Сорга, выбившись из скалы, бежит по замкнутой долине. В тени древнего дуба они пели взапуски, а я слушал, притаившись в кустах, как они вохваляли до небес Саффó; восхищенный, я позабыл Филлиду, и новая любовь обуяла меня; я ищу Саффó — не ты ли это? И по виду и по речам ты богиня. — Нет, я ей слуга; что бы сказал ты, если б увидел ее! Но много труда предстоит тебе, слишком высоко ты поставил свою любовь! — Но кто же ты, прелестная? — Меня звать Каллиопой, я дочь Юпитера, страж касталийского леса и священного источника. — Помню, так пели о тебе великий Виргилий и великий Сильван: ты оглашаешь леса, вещая высокие замыслы Саффó. Но где пребывает она? — На высоте Низы, у горгонейского источника; лавровый венок скрывает ее светлые очи, покрывало девственное лицо; немногие видели ее встарь; мы сестры-пиэриды у нее в услужении, для нее поет Аполлон. — Зачем же таится она, к чему чуждается города? — Она сидит, погруженная в думы, и то переносится в обитель Плутона, к стонам



его мрачного леса, то открывает таинства моря; перед ней проходят сонмы дочерей Форка и Напей, веселые, цветущие долины Елизия, слышится пение птиц и сияют светила неба. Все виденное она обнимает своим чудесным плектром и хранит в записи под зеленой корой дерева. Неужели, думаешь ты, все это допустила бы неразумная толпа, занятая стрижкой ослов, крикливо загоняющая козлиное стадо? Весной мы безжалостно ступаем по цветам, которых напрасно ищет потом игривая девушка; вот почему скрывается Саффó. — Да это так: Сократ принужден был испить цикуты, победитель пунийских львов (Сципион) осужден на изгнание. Всему дивятся лишь однажды, святыня теряет от частого употребления. — К тому же нашлись люди, которые стали угрожать Саффó, невинной, стараясь запятнать ее чистое чело; говорили, что она лжива, полна блуда, растлевают нравственность, другие, осуждавшие древний котурн, указывали на то, что она, как мим, водится на театре, и полагали, что ее следует изгнать за то, что она воспекает любовные похождения богов и под вымышленными образами представляет деяния древних. Изгнать из отечества — точно она царит в городах! Иные, не понимающие и не желающие понять ее печали, зовут ее сиреной, жадной до наживы. Вот еще что взволновало богиню, вот почему она не покидает своих вершин. — Но кто же те люди? Может быть, их одолело вино, ведь здравый человек не дойдет до такого безумства? — Старые люди звали их эриколами (стяжателями). — Не понимаю я этого: ты говоришь ведь не с Платоном и не с Ликургом; я простак и во многом не сведущ. — Это те, что вырывают из пасти волка похищенных им животных, торгуя широковещательными словами; те, которые говорят о себе, что знают толк в болезнях скота, в источниках и врачебных травах, влияя будто бы на ход природы; те наконец, которые самоуверенно описывают обители богов, говорят, что им открыто их провидение, причины, почему напр. молния падает на лес, и читают умиловительные молитвы. — Но что же понимает крестьянин в деле пастуха? Что между ними общего? Никому-то Еринния не позволяет удовлетвориться своей судьбой! Но покажи же мне путь на Парнас, как легче туда добраться, чтобы послушать Саффó? — Путь заглох, заплотнили его старые сучьи, камни, замела пыль; тому виною жажда золота; уже многие возвращались вспять, увидев, что дорога изрыта ямами. — Это меня не пугает, часто я восходил на скалы снежного Ликея; все преодолевает неослабный труд. — Талант выше труда: даром потрудился железный Арпинат, хотя у него было сильное перо и звучный голос, но не то было дарование, не было поэтического огня. Мы родимся

с разными призваниями. Но если тебе так страстно хочется увидеть Саффó, послушайся моего совета: один лишь Сильван недавно воззошел к ней, нет нам милее его после Virгилия, не милее и Лукан. Ступай к нему, он поведаст тебе, какими путями он сам взобрался на желанные высоты. — Пойду я к нему, понесу двух поросят, быть может, и умолю его подарком.

Для характеристики литературного перелома, совершившегося в Боккаччо в связи с его нравственными колебаниями, XII-я эклога чрезвычайно интересна; сравните ее с III-й эклогой Петрарки, которой она видимо подражает, и получится характеристика человека. Пастух Ступей (Петрарка) увидел на пустынном берегу лучезарную Дафне, не поэзию, а символ поэтической славы; он увлечен ею, хочет с ней объясниться, она бежит. Многим я нравилась, говорит она, нравилась и златовласому Фебу, ты кто такой? — Сам я знаю, отвечает поэт, что желающему жить в мире не следует сближаться с теми, кто выше его и кто ему ровня, а искать верной дружбы в сердце меньшего: там лишь он обретет и неослабную снисходительность и скромные обоюдные ласки и милую боязливость. Все это я знал, но любовь, побеждавшая богов, победила и меня. — Какая же надежда питает тебя? спрашивает Дафне. — Сколько бессонных ночей провел я в течении пятнадцати лет, сколько вздохов подавил в сердце, покоренном любовью — об этом лучше бы умолчать. Я пытался прибегнуть к искусству музыки, в надежде, что звукам и Каменам ты более доступна, чем блеску золота, но мои песни казались мне самому неблагозвучными, хотя я слышал, как расхваливали их фавны и дриады; часто козы, перестав глодать ветки, уставлялись на меня, изумленные, пчелы забывали раakitник, умолкали цикады. Я радовался, но уверенность явилась лишь когда к песням меня побудил Аргус (король Роберт). — У него одного было право повелеть, ибо он один разумел это, говорит Дафне; но скажи же, каковы твои новые начинания. — Ты мой покой, моя забота и наслаждение, твердит ей поэт, ты моя единственная властительница; тебя любит Юпитер, любил Аполлон, теперь к тебе пылает бедный пастух; если ты одобришь его песни, он будет богачом. — И он рассказывает ей о своей встрече с сонмом муз, как одна из них ободрила его, подала ему ветку лавра: пойдя к Дафне, она смилуется. — Она смягчилась, ведет его на свой холм, рассказывает о его былой славе, о поэтах, которые здесь венчались лавром, о Virгилии. Подай мне свою ветвь; хотя и под другим созвездием, я сплету и для тебя венок из того же лавра. Покинь все другие заботы и будь моим. — Мои бдения увенчались успехом, кончает поэт, сладко теперь вспомнить о былых трудах.

Спокойная самоуверенность Петрарки ярко оттеняет боязливую скромность Боккачьевской эклоги. Оба начали с легкой итальянской лирики, но одной заслушивались фавны и дриады, другой ее стыдится, как греха юности, как площадной поэзии, забыв о венке, который сулили ему музы Тезейды. Там и здесь упоминание короля Роберта, но какая разница в освещении! Один торжественно проходил в царство не только поэзии, но и славы, другой только стремится к ней, робко и страстно, чувствуя свою слабость, готовый работать и учиться у Петрарки и Вергилия, а Саффо толкует ему, что дарование выше труда, как и Петрарка говорил в своей венчальной речи, что поэты рождаются и смешны те, которые даром потратили на это всю жизнь. — Это не остановит рвения Боккаччо; поэзия представляется ему каким-то волшебным царством, полным глубоких поучений, обнимающих тайны всего сущего; практики жизни ее не понимают, юристы, врачи, богословы преследуют ее, как вредную: это те, которые в XII-й эклоге являются под именем *ericoles*. Люди наживы не видят в ней никакой пользы: на эту тему спорят в XIII-й эклоге Стильбон, какой-то генуэзский купец, с Дафнисом-Боккаччо. Слепая любовь заставляет вас следовать музам, которых по внушению Дионы (Венеры) вы предпочитаете другим богам, говорит Стильбон; но с этим всегда соединяется худшее из зол — бедность. — Богатство непостоянно, отвечает Дафнис, мы довольствуемся немногим и счастливы тем, что венчаемся лавром. Стильбон поет хвалы Хризеиде-богатству, Дафнис Саффо — поэзии; тот говорит о торговых предприятиях на кораблях, покоряющих волны, о мене товаров между отдаленными частями света, о желаниях, удовлетворяемых золотом; Дафнис о власти песен над морскими богами, о мудрости Паллады, вещающей тайны религии и мирового устройства; о звонкой песне поэтов, доносящей до калабрийца вести о неведанных им индах и вызывающей в памяти живущих тени Орка. — XII-я эклога подчеркивает особо этот элемент воображения: Саффо сидит, погруженная в думы, а ей видится и обитель Плутона и поля Елизия и сияние неба. Поэзия — это отражение жизни, схваченной в ее сущности, далекой от суеты и расчета и вождлений, расцвеченная фантазией. Это ли не дело, не удовлетворение! Теоретическое обоснование этого взгляда явится в жизнеописании Данте, в Генеалогиях Богов, в комментариях на Божественную Комедию; там мы встретим и средневековую теорию аллегории, знакомую и Муссато и Данте с Петраркой. «Вымышленные образы» XII-й эклоги не разумеют ничего другого; собрание эклог Боккаччо дает о ней понятие, вместе с тем это и образчик его строгой манеры.

Они написаны были в разное время; одни относятся ко второй половине 40-х годов, другие к началу 60-х. Уже на старости лет Боккаччо посвятил их грамматике Донату дельи Альбанцани, который просил его о том. Альбанцани был значительно моложе Петрарки и Боккаччо, преданный и любящий их поклонник; они отвечали ему выражениями дружбы: Петрарка посвятил ему свое рассуждение: «*De sui ipsius et aliorum ignorantia*»<sup>15</sup>, сообщал поправки к своим эклогам, и Альбанцани комментирует их, переводит жизнеописания великих людей Петрарки и *De Claris mulieribus* Боккаччо. Последний познакомился с ним в Равенне, вероятно, в 1350-м году, при дворе Бернардина да Полента, сына известного нам Остаджио. Помнится мне, говорит Аппенигена (= Донат) XVI-й эклоги, видел я старика (Боккаччо), когда он жил в пещере у равеннского циклопа, как порой, устав от обычных трудов, он гулял по болотистым лесам. Позднее они виделись в Венеции. XVI-я эклога служит как бы напутствием остальным: старый, бедный пастух Церретий (Боккаччо) посылает Аппенигене пятнадцать больных, хромых овец (= пятнадцать эклог); на них кости да кожа, и немудрено: им нечем кормиться на пастбищах горы *Cerretum*, где они щиплют богородичную траву, проросшую сквозь допотопные раковины. Пусть друг не гнушается малым подарком; послать его Сильвану (= Петрарке) Церретий не решился: для него он слишком незначителен. — Раковины Чертальдо не раз обращали на себя внимание Боккаччо; пятнадцать овец-эклог напоминают образы дантовской эклоги и ответного послания *Giovanni di Virgilio*: и там Титир (Данте) обещает послать Мопсу (*Giovanni di Virgilio*) десять сосудов молока от своей любимой коровы (= десять песен Рая), а Мопс отвечает ему таким-же символом, и так же выражает сомнение: приличен ли подобный дар такому пастырю.

Данте был из первых, обновивших в Италии предание виргилиевской эклоги; Боккаччо знал его поэтическую корреспонденцию с *Giovanni di Virgilio*, потому что упоминает о ней в своем жизнеописании Данте и она нашлась в одном из принадлежавших ему сборников; между тем в послании к Мартину да Синья, в котором он поясняет скрытый смысл своих эклог, он не называет Данте в числе предшественников. Первым изобретателем буколического стиля был Феокрит, говорит он в начале письма, но он ничего не таил под личиною своих слов; Виргилий вложил в них некий иносказательный смысл, хотя и не всем именам своих действующих лиц желал придать такое именно значение; за Виргилием следовали другие поэты, не стоящие внимания, лишь мой славный учитель

Петрарка несколько поднял стиль эклоги, и все лица носят у него знаменательные имена. Сам Боккаччо следовал приему Вергилия. Если он не назвал Данте, то потому, быть может, что иносказание его эклоги была ему не внятно, либо не отвечало его требованиям аллегоризма. Именно вергилиевская эклога открывала к тому широкий простор. Вергилий внес в свой несколько лощеный пастушеский мирок ряд личных и политических аллюзий; его толкователи, вроде Доната, Макробия и Фульгенция, вложили в него всю ту массу мудрости и вещего звания, которую они раскрывали в любимом поэте. Средние века усвоили и усилили этот взгляд: в вергилиевской буколке вычитывали аллегорию созерцательной жизни. Такая широта толкования, перенесенная на род эклоги вообще, достигалась путем насильственных уравниваний, делающих чтение иной, напр. боккаччевской эклоги, равносильным чтению иероглифов. Ограниченный инвентарь пастушеской среды плохо отвечал тому содержанию, которое пытались выразить его средствами: пастухи, разумеется, пасли стада, влюблялись в Филлид и Галатей, плели венки, жаловались на бедность и насилие, пели взапуски; все это понималось иносказательно: под лесом напр. разумелся город, овцы — эклоги, пастух, поющий, сидя на холме, своему стаду — это Кола ди Риенцо, дающий народу благие законы или король Роберт. При таком искусственном отношении формы к содержанию впечатление реальной пастушеской жизни или идиллическое настроение могли быть достигнуты либо таким оригинальным талантом, как дантовский, либо достигались случайно и эпизодически. Поэзия умолкала перед главной задачей: выразить возможно большое содержание в формах, не допускавших разнообразия.

Из XVI-ти эклог Боккаччо лишь первые две говорят о любви, и притом несчастной. В первой пастух Дамон спрашивает Гиндара, что побудило его покинуть поля Везувия для бесплодной долины Арно? Несчастливая судьба, отвечает тот и в свою очередь спрашивает Дамона, почему он так грустен. Галла покинула меня для Памфила, отвечает Дамон; он жаждет смерти, но хотел бы насладиться лицемерием своей милой, когда она станет старухой и все ее забросят. — Так плачется во 2-й эклоге Палемон, сидя на берегах Арно: Пампинья покинула его для Главка, и он зовет ее, томимый любовью; он был бы ей спутником на охоте, ухаживал бы за ней, развлекал. Теперь он умрет, и его Тестилис всю жизнь будет плакать по нем.

В письме к Мартину да Синья Боккаччо отказывается объяснить содержание двух первых эклог: не стоит, они говорят о моих юношеских увлечениях. Мотивы могли быть подсказаны вос-



поминаниями, вспомнились Неаполь и Пампинейя, но на встречу явились VIII и X эклоги Виргилия, целый ряд образов и выражений из других виргилиевских эклог — и обе пьесы Боккаччо очутились центном. — Эклоги III–VI касаются отношений поэта к анжуйцам: Роберту, Андрею и Джованне, Людовику Тарентскому, VII и IX притязаний имперской власти на самостоятельность Флоренции; VIII и X — выражают настроение Боккаччо, когда не сбылись его надежды устроиться под сенью Аччъяйоли; XII и XIII — поднимают общие вопросы поэзии — и жизненной практики, XV — раскрывает противоречия земных страстей и добродетелей, ведущих к небу. В XI эклоге (Pantheon), напоминающей мотивы виргилиевских VI и IV, Главк — ап. Петр воспевает, по просьбе Миртилис — церкви, ее судьбы от мироздания до последнего явления Кодра-Христа, когда земля погибнет в пламени. С деланным аллегоризмом этой эклоги стоит в контрасте XIV, может быть, лучшая из всего собрания. И в ней христианское содержание борется с иносказанием и образами буколки, но в вводной сцене есть реалистические черты и искренний тон в просыпающемся чувстве отца. Не спится печальному Сильвио (Боккаччо) ночью: кажется ему, что развеселились боги, лес наполнился птичьим кликом, пес Ликос как-то ласково ворчит и дружелюбно машет хвостом. Что это он видит? Подите, слуги, посмотрите; уже настало утро. — Вставай, старик, докладывает ему Терапон, весь лес горит, пламя победило мрак ночи! Сильвий спешит и дается диву: еще ночь, сияют звезды, а в лесу светло, и деревья не тронуты пламенем. Какой-то чудесный аромат разлит повсюду, слышно пение; должно быть, боги спустились на землю, святят поля. «Здравствуй моя отрада, отец мой! Не бойся, я твоя дочь», говорит ему, спустившись с высоты Елизия, Олимпия (= Виоланта), я пришла осушить твои слезы. — О мое утешение, моя единственная надежда! Смерть унесла тебя, когда я уехал на раздольные пастбища Везувия, и я искал тебя, печальный, по горам и долам. Где ты была? Как ты выросла! Кто это с тобой? — Неужели не узнаешь ты своих Мария и Юлия и милых моих сестер? Ведь мы — твои дети! — Сильвий бросается к ним, обнимает, хочет, чтобы все в доме веселились и пели. — Если у тебя такая охота веселиться и петь, то у нас есть свои песни, незнакомые здешним лесам. — И Олимпия поет гимн в похвалу Христу и Богородице, первый стих которого повторяется потом как припев: Мы живем вечно заслугами и божественной силой Кодра!. — Что за мелодия, дивится Сильвий, что за песни! такой не певала ни Каллиопа, ни Титир (Виргилий), ни Мопс (Гомер). Он хочет одарить певцов; пусть твои дары останутся при тебе, говорит

Олимпия: я уж не та, какой ты знал меня маленькой (*parvula*), и ничто смертное не проникает в обитель, где я обретаюсь. И по просьбе отца она описывает ему христианский Елизий на дальнем востоке, где на вершине горы высится благоуханный лес; там дивные цветы, серебряные источники, яблоки и птицы и звери — все золотое, золотое солнце и серебристая луна; там вечная весна и вечный день, нет печали и смерти, там исполнение всякого желания. Всем правит великий Архезилай, его образ неизреченный; на его лоне покоится белый агнец, нам в благодатную пищу и во спасение; от обоих исходит пламя, утешающее печальных, просвещающее умственные очи, подающее совет и силы бедствующим, вселяющее любовь. Кругом вечные сонмы сатиров (святых), облеченных в пурпуровые, белые, желтые одежды, они славословят агнца; между ними я видела Азилу (*Asylas*). — Разве наш Азила сподобился взойти на гору? он был такой благодушный, образец старинной верности. Узнал он тебя? — Узнал и обнял, и поцеловав в лоб, спросил: Ты ли это, дорогая дочь нашего Сильвия? И он повел меня и заставил преклонить колена перед Девой (*Parthenos*), которая приобщила меня к своим ликам. — И Олимпия объясняет, по просьбе отца, что такое Партенос, восседающая одесную Сына, окруженного стаями белых лебедей (ангелов). — Кто даст мне крылья Дедала, чтобы взлететь туда! восклицает Сильвий. — Питай голодного брата, напой молоком усталого, помогай заключенным, прикрой нагого, подними павшего — вот что даст тебе орлиные крылья, говорит Олимпия, исчезая в воздухе. — Сильвий опечален, грустная будет у него старость — и мы внезапно возвращаемся к стилю эклоги, о которой забыли: «Выгоняйте, молодцы, телят в поле, уже встает солнце!».

Эклоги Боккаччо невольно вызывают сравнение с буколической Петрарки, которую они имели в виду. Сравнение не может касаться эстетической оценки, ибо к ней нет повода. Дело идет об искусственном роде, исключавшем поэзию; можно сказать, что Петрарка движется в нем ровнее и спокойнее, он больший художник латинского стиха, но я не сказал бы, чтобы он явился большим поэтом. Ему удаются лирические места, лирические положения, вроде знаменитого в VIII эклоге, где с вершины Альпов Амикл открывает панораму Италии и в самом себе — любовь к далекой родине. Боккаччо, по натуре, эпик, оттого ему удалась бытовая картина в начале XIV эклоги, но в общем условия жанра должны были связывать его реализм; он грузен и менее владеет формой. Ему не уйти за Сильваном; Саффо была права: талант выше труда, говорила она, а он все хочет превозмочь трудом. Его программа того требовала: он

обратится к науке; когда-то она питала его поэзию любви, «неупорядоченного желанья», теперь он будет искать в ней упорядоченного мирозерцания и в нем обретет основы новой, возвышенной поэзии. Но поэзии не вышло, потому что не получилось цельного мирозерцания; и в погоне за ним Боккаччо перестает быть поэтом, чтобы очутиться эрудитом — гуманистом.

Так совершилось «обращение» Боккаччо, задолго до того времени, когда в 1361 году вещания монаха фанатика навели на него суеверный страх за свою душу. Это был лишь случайный момент в развитии, главные стадии которого уже были пройдены; Боккаччо привели к нему годы и эротические недочеты и окрепшее сознание своей жизненной задачи. Тогда ему представилось, какие уроки могут извлечь из его Декамерона, и он задумался. Так неудача Федры и дело маркизы de Brinvilliers раскрыли Расину глаза на гибельные следствия тех страстей, которые так очаровывали в поэзии его трагедий — и он оставил на время поэзию и ударился в религиозность<sup>16</sup>. Боккаччо ушел в науку.

